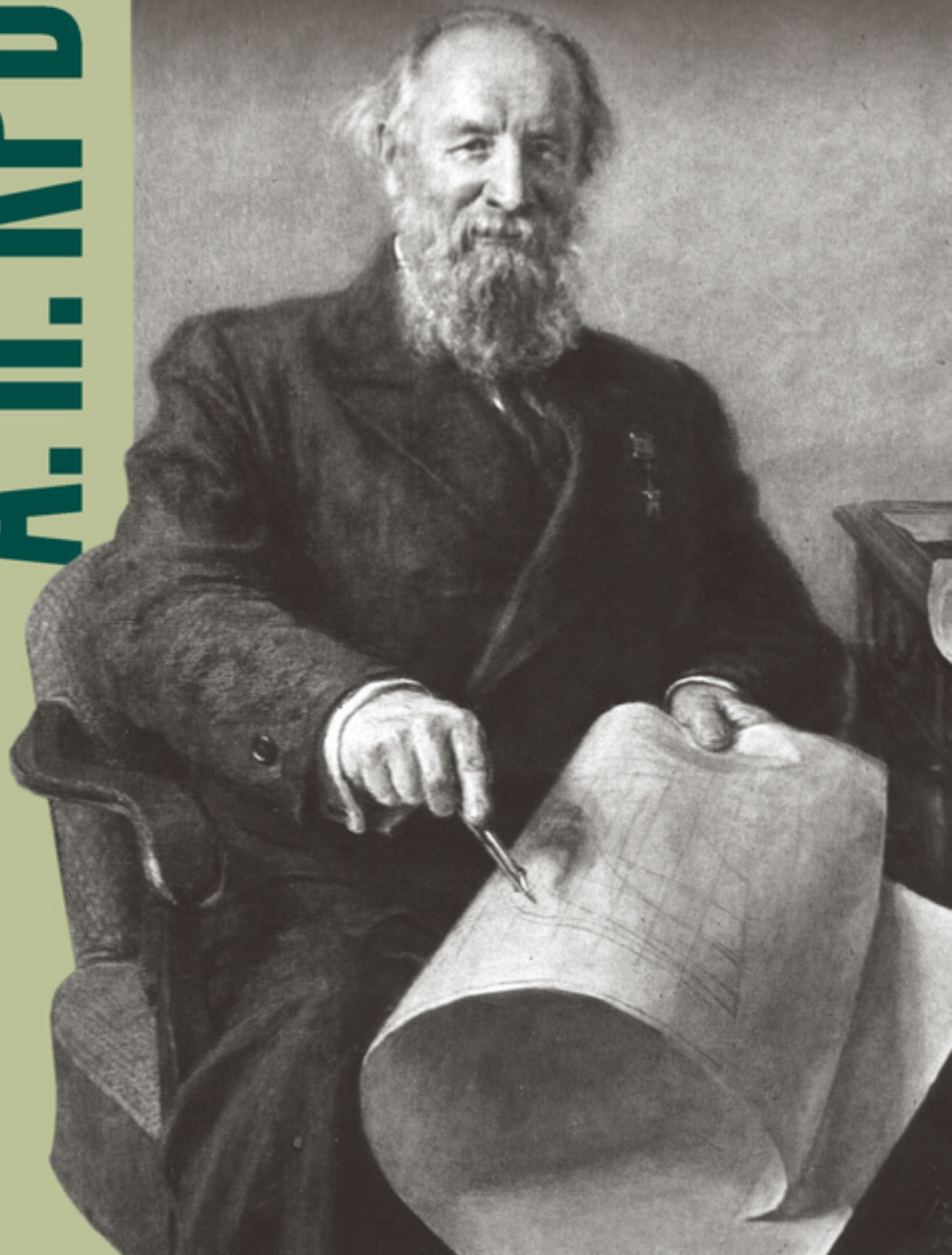


АКАДЕМИК

А. Н. КРЫЛОВ

*Мои  
воспоминания*



Алексей Крылов  
**Мои воспоминания**

«Политехника»

2014

УДК 629.12 (091)

ББК 63

### **Крылов А. Н.**

Мои воспоминания / А. Н. Крылов — «Политехника», 2014

Академик Алексей Николаевич Крылов – основоположник современной теории корабля – был ученым энциклопедического склада ума.

Ему принадлежат оригинальные труды по различным вопросам математики, физики и астрономии; он автор многих изобретений и ряда прекрасно написанных учебных курсов по теории корабля, теоретической механике, дифференциальному и интегральному исчислениям и т. д. Книга

«Мои воспоминания» – это написанные прекрасным литературным языком рассказы большого ученого об основных периодах его научной и практической деятельности. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей отечественной науки, флота и судостроения.

УДК 629.12 (091)

ББК 63

© Крылов А. Н., 2014

© Политехника, 2014

## Содержание

Дорогие друзья!	7
Мемуары академика Алексея Николаевича Крылова	9
Раннее детство	16
Собаки	21
Соседи	25
Теплый Стан. Сеченовы и Филатов	31
Школьные годы	39
Конец ознакомительного фрагмента.	44

# **Алексей Николаевич Крылов**

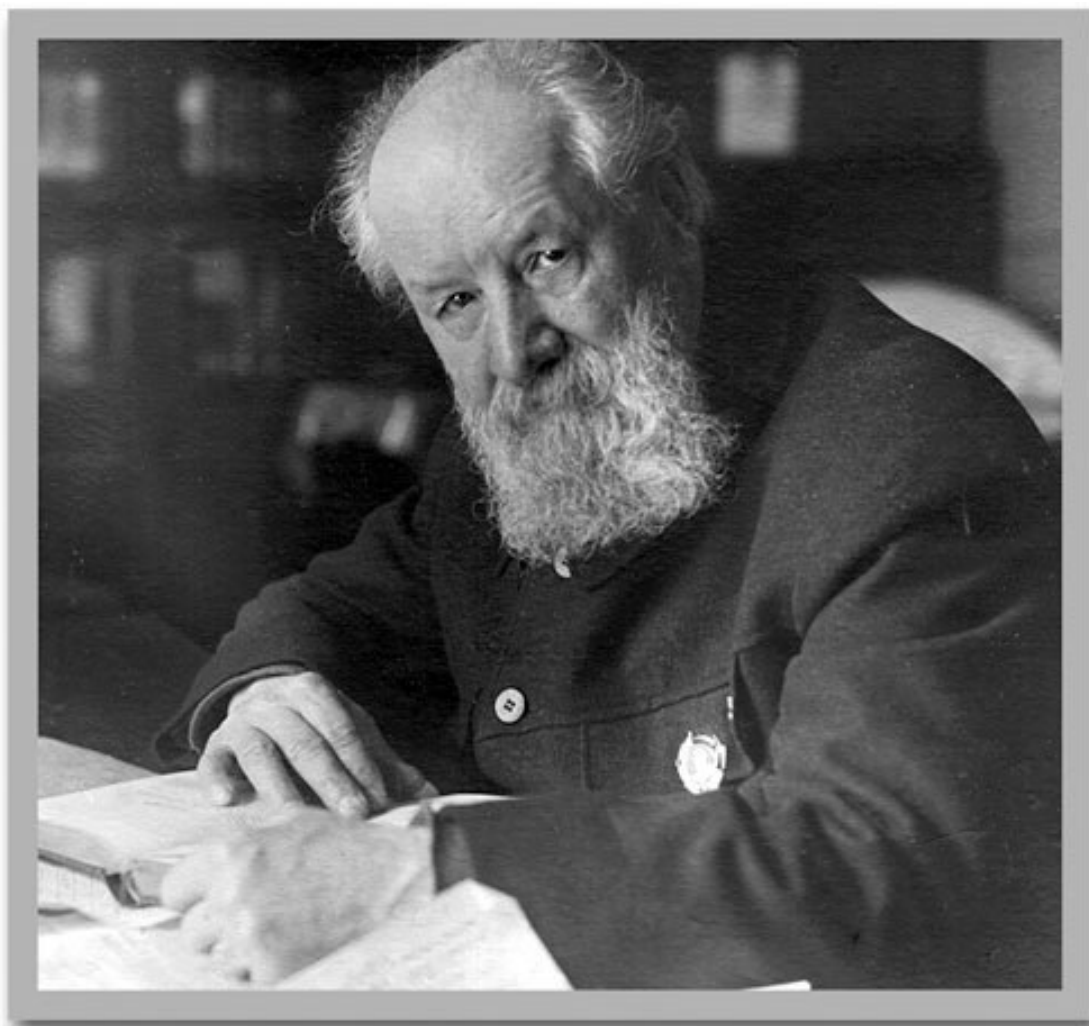
## **Мои воспоминания**

© А. П. Капица, 2003

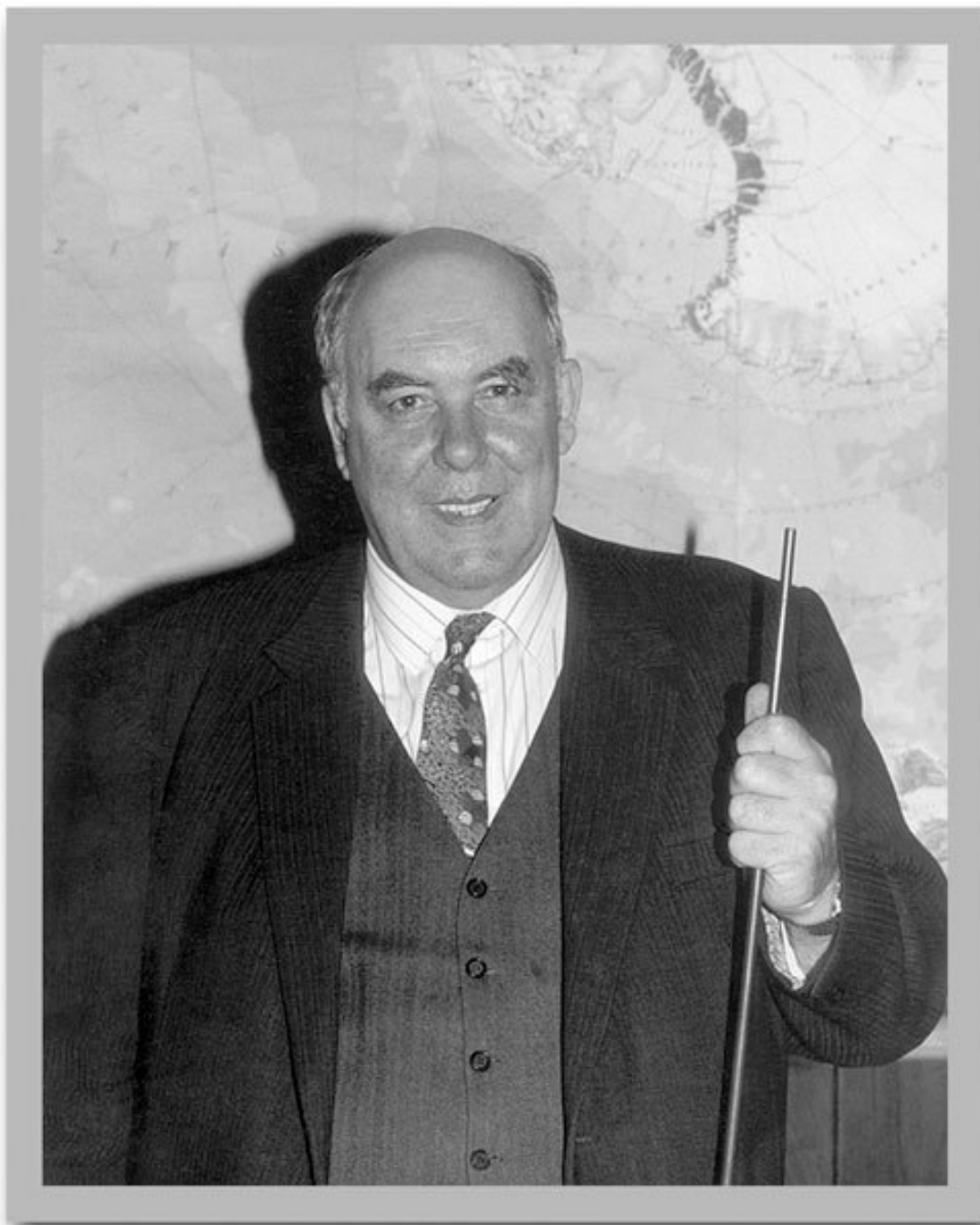
© М. А. Капица, 2014

© Издательство «Политехника», 2014

\* \* \*



**Алексей Николаевич Крылов (1863–1945)**



**Ответственный редактор член-корреспондент РАН Андрей Петрович Капица**

## Дорогие друзья!

У вас в руках увлекательная книга воспоминаний, написанная невероятно одаренным и талантливым человеком – Алексеем Николаевичем Крыловым. В августе 2013 года исполнилось 150 лет со дня рождения этого выдающегося русского ученого-кораблестроителя. Юбилейная дата знаменательна не только для России, но и для всего мира.

Академика Крылова без всякого преувеличения смело можно причислить к плеяде выдающихся людей, прославивших нашу страну. По неординарности и масштабу личности, по своему вкладу в российскую науку Крылов стоит в одном ряду с Михаилом Ломоносовым, Дмитрием Менделеевым, Николаем Жуковским, Константином Циолковским...

Многообразии научных интересов Алексея Николаевича и уникальная осведомленность в различных областях человеческих знаний – поистине удивительны.

Математик, физик, механик, инженер, метеоролог, астроном, изобретатель, экспериментатор, организатор науки, педагог, переводчик, дипломат. Трудно перечислить все качества и стороны этой замечательной, многогранной, творческой натуры.

Но, пожалуй, самым главным делом всей его жизни стало возведение судостроения на пьедестал научной высоты. Являясь классиком корабельной науки, он внес решающий вклад в развитие России как могучей морской державы. Главные труды академика посвящены кораблестроению и теории корабля.

По свидетельству современников, Крылов обладал исключительной интуицией, основанной на фундаментальных теоретических знаниях и громадном практическом опыте, что позволяло ему ориентироваться в очень многих, сложных вопросах.

Именно он стал одним из создателей нашего научного центра, подняв уровень и значение опытового бассейна, заведовать которым был назначен в 1900 году.

Крыловский государственный научный центр, которому в марте 2014 года исполняется уже 120 лет, с гордостью носит имя великого ученого. Новые поколения судостроителей хорошо знают и отлично помнят наследие Алексея Николаевича, руководствуются его научными заветами, ставят себе в пример его исследовательскую смелость и прозорливость.

Крыловский центр – головная организация в отечественном судостроении, проводящая фундаментальные исследования в области морской и речной техники, генератор модернизации судостроительной промышленности. Алексей Николаевич Крылов некогда писал: «Наш флот должен и будет жить новыми кораблями». Сегодня новые корабли зарождаются у нас, в Крыловском научном центре.

Нельзя не отметить, что в своих невероятно интересных и увлекательных мемуарах, написанных в 1941 году, Алексей Николаевич Крылов остается автором очень понятным и современным нынешнему поколению читателей. Невольно поражаешься актуальности, злободневности, точности суждений ученого, как будто они высказаны не 70 лет назад, а сегодня, в наши дни.

Принимая во внимание этот факт, руководство Крыловского государственного научного центра решило переиздать книгу воспоминаний академика. Делается это специально для того, чтобы каждый вновь принятый на работу сотрудник мог лично познакомиться с биографией человека, внесшего значительный вклад в создание и становление российского научного центра судостроения, каким является Крыловский ГНЦ сегодня.

Книга воспоминаний Крылова не только способна интеллектуально обогатить любого читателя, от студента до академика, но и доставить удовольствие своим живым слогом, искрометным юмором и жизнеутверждающим оптимизмом.

Приятного и познавательного чтения!

*Генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр»*  
**А. В. Дутов**

## Мемуары академика Алексея Николаевича Крылова

Книга Алексея Николаевича Крылова «Мои воспоминания» – удивительный образец мемуарной литературы. Она была издана впервые в 1942 г. и выдержала с тех пор девять изданий общим тиражом около 350 тысяч экземпляров (см. Приложение). Тем не менее, сейчас она представляет собой библиографическую редкость.

Случилось так, что я оказался свидетелем ее написания. Алексей Николаевич – мой дед по материнской линии. Моя мать Анна Алексеевна Капица (1903–1996) – урожденная Крылова. Алексей Николаевич жил всегда в Ленинграде, наша семья – в Москве, а война свела нас в первые месяцы войны, в августе 1941 года, в Казани, куда была эвакуирована часть научных учреждений Академии наук СССР из Москвы и Ленинграда.

Хорошо помню, как в первые дни августа 1941 г. вместе с сотрудниками Института физических проблем, директором которого был тогда мой отец Петр Леонидович Капица (1894–1984), я приехал в Казань. Отец с матерью и старшим братом еще оставались в Москве.

Город поразил меня своей тишиной и какой-то мирностью. Конечно, и здесь ощущалась война, но не было ежедневных воздушных тревог, грохота зениток, заклеенных крест-накрест бумажными полосками окон, неизменных противогазов на боку, ночных дежурных на крыше. Вскоре после моего приезда было введено затемнение.

Немного позже в Казань из Ленинграда приехал Алексей Николаевич, и тогда я переехал из общежития института, где жил со всеми сотрудниками института, к нему в маленький домик на улице Волкова, на окраине города, недалеко от озера Кабан. Мне было десять лет, поэтому я предпочитал носиться со своими сверстниками по городу, играть в войну или пробираться на железнодорожную станцию, чтобы посмотреть на боевую технику, груженную на платформы, на красноармейцев в теплушках, а не сидеть дома со старым дедом. Но к концу дня я неизбежно оказывался дома.

В большой комнате, где стоял обеденный стол, у керосиновой лампы с большим бумажным конусом абажура я устраивался читать какую-нибудь книгу о путешествиях. Напротив сидел дед и старательно писал что-то карандашом в большой общей тетради. Рядом за столом сидели: его последняя жена Надежда Константиновна Вовк-Россохо (которую все звали просто Вовочка) и ее близкая подруга Евгения Николаевна Моисеенко, обе читали.

Однажды вечером дед отложил карандаш и сказал:

– Вот послушайте, что я написал.

И он начал читать свои воспоминания. Надо сказать, что читал дед превосходно. Перед нами оживали страницы его детства, рассказы об отце, соседях... Мы молчали, будто замороженные, и не заметили, как пролетело два часа.

– Ну как, интересно? – спросил дед, закрыв тетрадь.

После этого Алексей Николаевич по вечерам читал нам написанное за день.

С тех пор прошло почти шестьдесят лет, но я хорошо помню, как спешил из школы (она размещалась около казанского Кремля) домой, чтобы успеть к вечернему чтению о событиях, как мне тогда казалось, очень древних времен. Многого я, конечно, не понимал, особенно меня огорчало, что дед, хотя и был генералом, никогда не участвовал в сражениях, не командовал боевыми кораблями. Помню, я задал однажды вопрос деду:

– Почему тебя как генерала в революцию не расстреляли? И его ответ:

– Генерал генералу – рознь.

Действительно, загадкой остается тот факт, что никого из нашей семьи и семьи Крыловых не подвергли репрессиям ни до войны, ни после. А ведь два сына Алексея Николаевича – Алексей и Николай – были офицерами и участвовали в гражданской войне на стороне белого движения и погибли в частях Деникина в 1918 году: Коля под Ставрополем, а Алеша под Харь-

ковом. Этого было вполне достаточно для самых суровых мер. Отец мой, П. Л. Капица, разругался со всемогущим Берией и писал резкие письма Сталину. Но, кроме того, что его сняли в 1946 году со всех работ, ничего не произошло. А. В. Хрулев (начальник тыла страны во время войны) уже после смерти Сталина рассказывал отцу, как при нем Берия требовал ареста Петра Леонидовича, на что Сталин ему отвечал: «Я ТЕБЕ его снял, а ты МНЕ его не трогай». Словно какой-то зонтик безопасности был раскрыт над нашей семьей и ее окружением.

Сейчас, когда я пишу эти строки, предо мной лежат пять общих тетрадей в серых бумажных переплетах с надписью «А. Н. Крылов. Памятка моей жизни». В них 551 страница, испи-санная убористым, почти каллиграфическим почерком. Написаны они были за 27 дней – с 20 августа по 15 сентября 1941 г. Причем все цифры, даты, фамилии дед, которому было тогда 78 лет, записал по памяти – дневников он не вел.

Закончив работу, Алексей Николаевич в течение нескольких дней перечитывал ее и вно-сил чернилами исправления (такой правки в тетрадях немного), потом он взял большой тол-стый переплетенный в колленкор ежедневник и вставочкой с пером «рондо» переписал свои воспоминания набело. На полях стоят даты начала и конца переписывания: 23 сентября – 10 октября 1941 г.

Во второй половине октября приехали из Москвы мои родители с моим братом Сергеем, и мы поселились все вместе в Казанском университете в маленькой квартире – бывшей двор-нической. Здесь мы и прожили два года большой дружной единой семьей. В 1942 г. отцу удалось вывезти из блокадного Ленинграда Наталию Константиновну, вдову его брата Леонида, и их сына, тоже Леонида. Они тоже поселились в этой квартире.

Но вернемся к мемуарам деда. Позже я узнал, что тогда возникли трудности с перепе-чаткой текста на машинке. Но наборщики, посмотрев каллиграфически написанную рукопись, согласились набирать прямо с нее. 12 мая 1942 г. книга была подписана в печать, а 15 октября я получил в подарок экземпляр книги, которая и сейчас лежит передо мной с назидательной надписью:

«Моему внуку Андрею Капице 11-ти л. с советом, чтобы он всегда и везде помнил, что он в мире не один,

*от деда А. Крылова*

Казань

15-го окт. 1942 г.»

А на белой рукописи появилась надпись:

«Милой Анечке от папы. 15 окт. 1942 г.»

Алексей Николаевич тяжело болел. В 1942 г. у него был инсульт, от которого он почти полностью оправился, и его отправили на курорт в Боровое, в Северном Казахстане. Лето 1943 г. я провел у него. Это был год его 80-летия.

В июле ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. В августе, в день рожде-ния, в Боровом, он получил множество поздравлений, а само чествование состоялось позже, осенью, в Москве, где в сентябре собралась вся наша семья.

До августа 1945 г. мы жили рядом. Алексей Николаевич жил в отдельной квартире в Институте физических проблем, и я часто обращался к нему с просьбой помочь мне в школь-ной математике. Он с удовольствием доказывал теорему или решал задачу своим, оригиналь-ным, способом, который очень доходчиво мне объяснял. К сожалению, учителя не ценили ори-гинальность решения, и я получал двойки.

– Мы опять с тобой двойку получили, – говорил я деду, забежав к нему после уроков.

Алексей Николаевич страшно сердился и грозился как-нибудь сходить в школу и навести там порядок.

К деду часто приезжали адмиралы при кортиках в роскошной черной форме с золотыми звездами на погонах. Он очень любил эти визиты и как-то весь подтягивался, глаза его начи-

нали озорно поблескивать, особенно когда он рассказывал какой-либо случай из своей жизни, иногда приправляя его крепким морским словцом. Я обожал эти беседы, хотя мне не полагалось присутствовать при них, поэтому часто раздавалось:

– А ты чего подслушиваешь, а ну, брысь отсюда.

В августе 1945 г. А. Н. Крылов вернулся в Ленинград. 26 октября он скончался. Мать рассказывала, что последними его словами были: «Вот идет большая волна...». Я с родителями был на похоронах деда. Моряки хоронили его со всеми воинскими почестями, положенными адмиралу флота, и его провожал, как мне казалось, весь Ленинград. Траурная процессия растянулась по Невскому проспекту от Дворцового моста до Московского вокзала. Гроб везли на орудийном лафете, около которого каждые десять минут сменялись шеренги краснофлотцев почетного караула. Похоронили деда на Литературных мостках Волковского кладбища.

Я много раз перечитывал «Мои воспоминания». И может быть, некоторая причастность, как свидетеля, к их написанию делает меня непримиримым к той правке, которой подвергались более поздние издания. Его, который не боялся ни генералов, ни министров, ни царя, пытались как-то причесать, облагодетельствовать. Его иногда довольно «крепкий» лексикон пытаются отредактировать. Но Алексея Николаевича нельзя втискивать в рамки вежливой благопристойности.

Именно поэтому я взял на себя смелость восстановить текст воспоминаний А. Н. Крылова по первым трем прижизненным изданиям 1942–45 гг. В состав предлагаемого читателям издания входят также очерки из истории русской науки, кораблестроения, написанные им в разные годы и хорошо дополняющие основной текст. Подбор очерков основан на издании 1945 г. – последнем прижизненном варианте воспоминаний А. Н. Крылова.

«Мои воспоминания» – это не автобиография, хотя события изложены в хронологической последовательности. Какие-то этапы своей жизни Алексей Николаевич опустил. Так, кроме сведений о детском периоде, читатель практически ничего не узнает о личной жизни автора. Воспоминания оканчиваются 1928 г.

Для того чтобы у читателя сложилось полное представление о жизни и деятельности А. Н. Крылова, приведу некоторые сведения из его биографии.

Он родился 3 августа (по старому стилю) 1863 г. в сельце Висяга (ныне Крылово) Ардамовского уезда Симбирской губернии. Его отец Николай Александрович Крылов (1830–1911) – в прошлом офицер, участник боевых действий англо-франко-русской войны 1855–1856 гг., был человеком незаурядным. Он обладал литературным даром и опубликовал несколько трудов по истории края, был хорошим хозяйственником. Женат был на Софье Викторовне Ляпуновой.

Дед Алексея Николаевича, Александр Алексеевич Крылов, тоже был военным, гвардии полковником, участником суворовских походов и отличившимся в Отечественную войну 1812 г. Был ранен под Бородином и при взятии Парижа. Награжден золотым оружием за храбрость и орденами за боевые заслуги. Женат был на Марии Михайловне Филатовой, из знаменитого рода Филатовых.

В книге ничего не сказано о причинах отъезда семьи Крыловых в Марсель в 1872 году. Сейчас, спустя 130 лет, можно наконец рассказать о том, что долгое время считалось семейным секретом. Причина заключалась в том, что родная сестра матери Алексея Николаевича, Александра Викторовна Ляпунова, должна была родить. Отцом ребенка был Николай Александрович Крылов. Если ребенок родился бы в России, то его как незаконнорожденного ожидала весьма печальная судьба. Поэтому было принято решение всей семьей переехать в Марсель, так как во Франции такие дети пользовались всеми правами обычных граждан. Родившийся там ребенок получил имя Виктор, крестным отцом его был Алексей Николаевич, от которого он получил отчество, а фамилия ему была дана Анри (Victor Henri, 1872–1940). Часто можно встретить ссылки на него в русской транскрипции – «Виктор Генри».

Как французский подданный, он переехал в Россию, где учился в немецкой гимназии, потом вернулся в Париж, где и жил вместе с матерью с 14-ти летнего возраста. В 1891 г. поступил в Сорбонну, где сначала получил математическое образование, а потом получил подготовку в области естественных наук. После окончания университета увлекся философией и психологией. В 1897 г. защитил докторскую диссертацию в Геттингенском университете на тему «Локализация вкусовых ощущений». Потом публикует ряд работ в области психологии. В 1902 г. в Сорбонне он защищает докторскую диссертацию в области физико-химической биологии. Его интересы невероятно обширны. Во время 1-й мировой войны он в качестве французского атташе в России занимается организацией химической промышленности оборонного значения.

Виктор Алексеевич Анри был женат на Вере Васильевне Ляпуновой, дочери княгини Елизаветы Хованской и Василия Ляпунова. Этот брак дал блестящую ветвь Анри (Крыловых) во Франции. Сам он стал известным ученым физиологом, профессором, лауреатом Института Франции.

Виктор Анри известен своими работами в области фотохимии.

В 1930 г. он становится заведующим кафедрой физической химии Льежского университета, где и работает до 1940 г. Очень многие его работы дали начала новым самым различным направлениям в науке. В начале войны с Германией он вместе с Ланжевром работает над военными проблемами. Летом 1940 г. он умирает от воспаления легких в Ла-Рошели.

У него было два сына, Виктор и Алексей, и две дочери, Елена и Вера. С последней я случайно познакомился в 1964 г. на конференции в Токио, где она подошла ко мне и, глядя на мою карточку участника конференции, сказала мне:

– Кажется, я Ваша тетька.

Так я познакомился с Верой Анри, и потом уже в Москве моя мать рассказала мне о французской ветви нашей семьи. Дед очень дружил со своим сводным братом Виктором. Сохранилось много писем от него к Алексею Николаевичу. Часть потомков Виктора переехали в США, я с ними встречался в восьмидесятых годах. Только теперь я решил предать гласности эту историю. Ведь еще недавно иметь родственников за границей было небезопасно.

Но вернемся к биографии Алексея Николаевича. Детские годы и годы обучения хорошо описаны в «Моих воспоминаниях», но практически ничего не сказано о его семье. Дед женился в ноябре 1891 года на Елизавете Дмитриевне Дранициной (1868–1948), и у них родилось пятеро детей. Первые две девочки умерли в детстве, потом родились два сына – Николай и Алексей, пятым ребенком была моя мать Анна, она родилась в 1903 году и умерла в глубокой старости в 1996 году, сохранив до последних дней ясность ума и мудрость мышления. В 1914 году супруги Крыловы практически разошлись по вине Алексея Николаевича, у которого возник роман с Анной Богдановой-Ферингер. В 1919 году Елизавета Дмитриевна с дочкой Анной, после гибели двух сыновей в гражданской войне, эмигрирует за границу и, после смены нескольких стран, оседает в Париже, где и умирает в 1948 году. Ее дочь Анна в 1927 году вышла замуж за моего отца, который в это время работал в Кембридже у Резерфорда и часто посещал Париж.

С Крыловым мой отец был хорошо знаком еще с 1921 года, о чем я напишу позже. Алексей Николаевич, проведя с 1921 года по 1927 за границей в командировках Советского правительства, часто бывал в Париже и примирился с Елизаветой Дмитриевной и помогал ей финансово, хотя по-прежнему был женат на Ферингер и она всюду ездила с ним. В приложении к этой книге помещена статья Елены Леонидовны Капица, внучатой племянницы Петра Леонидовича, которая последние годы много беседовала с Анной Алексеевной и записывала эти беседы на магнитную пленку. Ее статья «Запечатленное в памяти» опубликована в приложении к газете «1 сентября», «Физика», номер 9 за 1999 год и представляет большой инте-

рес, т. к. в ней много говорится о личной жизни Алексея Николаевича и его семье, о которой не сказано в мемуарах, к рассказу о которых мы сейчас вернемся.

По традиции Алексея Николаевича ждала судьба военного, но, несомненно, большее влияние на него оказало окружение многочисленных родственников, Филатовых, Сеченовых и Ляпуновых, из которых в дальнейшем выросли знаменитые русские врачи, ученые, композиторы.

Служба Алексея Николаевича в царском военно-морском флоте до 1917 г. детально описана в его воспоминаниях. Хочется добавить, что революцию Алексей Николаевич принял равнодушно. Моя мать пишет в своих воспоминаниях (см. Приложение):

«Мой отец был всегда вне политических событий. Он для своего класса был чрезвычайно странным человеком, принимая любое правительство, особенно не обращая на него внимания. Теперь я понимаю, что Алексей Николаевич смотрел на наше правительство как на землетрясение, наводнение, грозу. Что-то существует такое, но надо продолжать свое дело. Поэтому отец совершенно спокойно после Октябрьского переворота оставался, собственно, в том же положении, в котором он был, преподавал в той же Морской академии. И в конце концов, ему предложили быть начальником академии, на что он согласился. Конечно, это было в высшей степени странно: шел 1918 год, папа был полный царский генерал и, несмотря на это, совершенно спокойно стал начальником академии. И тут ему пришлось читать лекции по высшей математике такому контингенту слушателей, которые, на мой взгляд, не знали вообще математики. Это был младший состав, а не офицеры. Но он был совершенно блистательным лектором, и все это превзошел, и его слушатели, главное, это превзошли. Он, собственно, воспитал этих людей. Алексей Николаевич считал, что на нем лежит ответственность за судьбу русского флота и нужно делать свое дело. Он много лет работал за границей, мог там остаться, но ему это не приходило в голову».

В 1919 г. А. Н. Крылов читает курс теории корабля комиссарам Балтфлота. курс этот был издан в 1922 г. и представляет большой интерес, так как он является образцом блистательного изложения столь сложного вопроса для неподготовленной аудитории. Помню, он при мне как-то рассказывал: «Выхожу на свою первую лекцию и спрашиваю:

- Кто знает математику в размере гимназического курса? В ответ молчание...
- Кто знает математику в размере реального училища? В ответ молчание...
- Кто учил арифметику в церковно-приходском училище? Поднимается четыре руки.
- Ясно, говорю, сегодня лекция не состоится, приходите завтра в это же время».

И он прочел курс теории корабля абсолютно неграмотным людям, да так, что они все поняли. Без единого математического знака или формулы. В дальнейшем в переработанном виде этот курс вошел в собрание сочинений Алексея Николаевича. В 1921 г. по поручению Советского правительства А. Н. Крылов возглавляет специальную группу советских ученых, направляемую за границу для восстановления научных связей, закупки научного оборудования и литературы. В эту комиссию входил на должности секретаря мой отец, с тех пор у них установились добрые отношения на всю жизнь. В дальнейшем Алексей Николаевич выполняет ряд поручений Советского правительства, связанных со строительством и эксплуатацией морского флота за рубежом. В конце 1927 г. Алексей Николаевич возвращается в Советский Союз и демобилизуется. Ему 64 года, но он не прекращает активной деятельности, в основном в Академии наук. Не теряет связи Алексей Николаевич и с Морской академией, где он читает лекции, консультирует по вопросам кораблестроения, баллистики, морской артиллерии, вибрации корабля.

В эти же годы он избирается председателем правления Всесоюзного научного инженерно-технического общества судостроения (ВНИТОСС), деятельность которого с его приходом резко активизировалась. Он пишет много статей, редактирует сочинения классиков математики и механики: Чебышева, Ляпунова, Чаплыгина, рецензирует отдельные работы,

выступает оппонентом при защите диссертаций, тогда еще только начинавшейся процедуры присвоения ученых званий.

В 1938 г., в связи с 75-летием Алексея Николаевича, его награждают орденом Ленина, ему присваивают звание заслуженного деятеля науки и техники. Военно-морская академия совместно с Академией наук СССР проводит торжественное заседание, посвященное этому событию. Выступая с ответным словом, А. Н. Крылов дал обещание написать книгу о своей жизни и деятельности и такую, как он добавил, «чтобы она читалась за один присест». Свое обещание он выполнил.

В 1941 г. ему присуждают Сталинскую премию за работу в области теории компаса.

Начинается война. Несмотря на протесты Алексея Николаевича, его эвакуируют в Казань, где он продолжает работать в качестве постоянного эксперта технического совещания и члена комиссии по научно-техническим военно-морским вопросам Академии наук СССР.

В конце войны он живет в Москве и продолжает активно консультировать военно-морской флот. В связи с 80-летием А. Н. Крылову присваивают звание Героя Социалистического Труда.

В июне 1945 г. его награждают третьим орденом Ленина. В сентябре он переезжает в Ленинград.

1 октября 1945 г. он выступал перед личным составом Высшего военно-инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского, а 26 октября скончался в возрасте 82 лет.

После смерти Алексея Николаевича Крылова Советское правительство приняло постановление об увековечивании его памяти – издании собрания его трудов. В 1956 г. в свет вышло собрание сочинений из 12 томов, общим объемом более 600 авторских листов. В ряде вузов были учреждены стипендии им. А. Н. Крылова. Ряду учреждений и кораблей присвоено его имя. Академия наук СССР присуждает регулярно премии А. Н. Крылова. Сначала Морская академия носила имя А. Н. Крылова. Но потом при всяких реорганизациях и слияниях имя это она утратила, так до сих пор его и не восстановила, а жаль!

О значении деятельности Алексея Николаевича Крылова написано много трудов. Наиболее значителен сборник «Памяти Алексея Николаевича Крылова» (М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958 г.). В нем собраны статьи, в которых дана оценка работ А. Н. Крылова в области кораблестроения, математической физики и механики, астрономии, теории корабля, баллистики, оптики, теории магнитных и гирокомпасов, педагогики, а также строительства Военно-Морского Флота СССР, развития вооружения и изучения естественных производительных сил России. Статьи написаны ведущими учеными, корабельными инженерами, преподавателями и военными специалистами страны.

В 1967 г. издательство «Наука» напечатало биографию «Академик Алексей Николаевич Крылов», написанную проф. И. Г. Хановичем.

К 100-летию со дня рождения А. Н. Крылова, которое торжественно отмечалось, Академия наук СССР организовала фотовыставку, составленную С. Т. Лучининовым, «Жизнь и деятельность выдающегося ученого Алексея Николаевича Крылова». Многие фотографии с этой выставки помещены в настоящем издании.

Мне как специалисту в области географии очень трудно дать оценку многогранной деятельности А. Н. Крылова. Поэтому я отсылаю интересующихся к названным выше изданиям. В настоящем издании «Моих воспоминаний», как я говорил раньше, сохранена структура последнего прижизненного издания, подписанного к печати 22 сентября 1945 г. (за месяц до смерти). В книгу включен доклад, прочитанный на общем собрании Академии наук СССР 23 ноября 1933 г. академиком С. А. Чаплыгиным, крупнейшим ученым, хорошо знавшим А. Н. Крылова и работавшим в близкой ему области. И хотя доклад написан, когда отмечалось 70-летие А. Н. Крылова, я считаю, что никому впоследствии не удалось так емко и кратко охарактеризовать все области его деятельности.

Я также включил в это издание, в приложении, статью Е. Л. Капица «Запечатленное в памяти», о которой я говорил выше.

В приложении приведены «Основные даты жизни и научно-технической деятельности академика А. Н. Крылова», а также перечень девяти изданий «Моих воспоминаний».

Хочется надеяться, что читатели получат не только большое удовольствие от чтения «Моих воспоминаний», но и вынесут немало полезного и поучительного от общения с замечательным человеком, ученым и инженером, блестящим популяризатором и энтузиастом науки, прожившим интереснейшую жизнь и оставившим нам ее описание.

В заключение мне хочется выразить благодарность Григорию Мощенко и Виктору Селиванову, без которых настоящее, десятое издание не появилось бы на свет.

Москва, июнь 2001 года

*Член-корреспондент РАН,  
заслуженный профессор МГУ  
А. П. Капица*

## Раннее детство

В метрической книге села Липовка Ардатовского уезда Симбирской губернии записано: «1863-го года августа 3-го дня рожден, того же августа 10-го дня крещен Алексей – сын помещика сельца Висяга Николая Александровича Крылова и законной жены его Софии Викторовны, оба первобрачные и православные. Восприемниками были вдова гвардии полковника Мария Михайловна Крылова и сын Наталии Александровны деревни Калифорнии Александр Иванович Крылов, которому фамилия однако не Крылов, а Тюбукин».

Кажется, только Л. Н. Толстой помнил, как его крестили, когда ему было три дня от роду, я же с этой записью ознакомился лет через 25, когда мне понадобилась метрическая выписка для вступления в брак.

Мне тогда рассказали, что в Липовку был только что посвящен молодой поп, и я был первый, кого он крестил. Так как бабушка Мария Михайловна все церковные службы и обряды знала лучше любого попа, то она ему все время подсказывала, что надо делать, какие молитвы читать, как и когда в купели на воде маслом чертить крестики и т. п., чем приводила в немалое смущение молодого попика.

Рассказывали также, что Александр Иванович, которому тогда было 18 лет, по рассеянности, подобно многим другим, хотя и плюнул на сатану, но дунул на меня, ребенка, за что от общей нашей бабушки Марии Михайловны большой похвалы не заслужил.

Как бы то ни было, делая свою первую метрическую запись, смущенный попик измыслил необыкновенное сословное положение Александра Ивановича и, перепутав его фамилию, чтобы не перечеркивать, исправил эту ошибку той своеобразной оговоркой, за которую мне через 25 лет пришлось дать диакону Андреевского собора красненькую (10 руб.), чтобы рассеять его «сумления» о метрической выписи и ускорить оглашение.

Какое же самое раннее воспоминание в моей жизни и к какому возрасту оно относится?

В начале лета 1866 г., с введением земства, мой отец, бывший до того времени мировым посредником (первого призыва) и живший в деревне Висяга, занял по выборам должность председателя Алатырской земской управы и переехал в г. Алатырь.

Был в то время в Алатыре, да и много лет спустя, сапожник Алексей Нилыч и сделал он мне первые мои сапоги с голенищами по колено. Был у нас кучер Петр, купил он себе на базаре сапоги, и вот, играя во дворе, я увидел, как Петр подошел к лагуну с дегтем, взял мазилку и густо вымазал дегтем свои новые сапоги.

Конечно, не успел Петр отойти от лагуна, как мазилка уже была в моих руках, и я свои сапоги вымазал еще гуще, чем Петр, и пошел в комнаты похвалиться перед родителями. Результат оказался неожиданный, и я хорошо его запомнил: мой отец взял меня левой рукой за правую ногу, поднял головой вниз, а правой рукой нашлепал по тому месту, откуда ноги растут, приговаривая: «Не обезьянничай, не обезьянничай».

Мне в то время было, вероятно, немного меньше трех лет, и хотя я плохо понял, что значит «не обезьянничай», но с тех пор я комнатных сапог дегтем не мазал.

Второе воспоминание, дату которого впоследствии я еще точнее не мог установить, относится к августу 1867 г., т. е. когда мне только что минуло четыре года.

В 1867 г. была Всемирная выставка в Париже; на нее поехала вместе с моей матерью и добрая знакомая Дарья Леонтьевна Кирмалова. Меня перед этим отвезли в Казань к бабушке Марии Ивановне Ляпуновой; так вот я совершенно отчетливо помню, как, выйдя на улицу с младшим братом моей матери Николаем Ляпуновым, которому тогда было лет 12, мы увидели, что навстречу едут на извозчике мой отец и моя мать, и мы побежали домой с криками: «Сонечка едет, Сонечка едет», так как, кажется, я лет до семи свою мать, подражая взрослым, звал Сонечка, а не мама.

С пяти лет воспоминания, по-видимому, идут в более или менее связной последовательности, локализация их по времени становится точнее, ибо они приурочиваются или к собственному возрасту, или к событиям внешнего мира.

Кроме меня у моих родителей детей не было. Отец был постоянно занят и был, вероятно, в частых разъездах. Матери моей в то время было 22 года, с нами вместе жили младшие ее сестры, сперва Елизавета, а потом Александра Викторовны; последняя и начала меня учить: читать, писать, молитвам, священной истории и французскому языку.

Судя по дошедшим до меня рассказам, молодая мать и еще более молодые тетки баловали меня беспредельно; мальчик я, видимо, был резвый, в шалостях мало стеснялся, так что более солидного возраста родственницы пророчили, что из меня вырастет разбойник и что, подобно моему троюродному деду Валериану Гавриловичу Ермолову, буду я по большим дорогам грабить.

Когда мне минуло пять лет, то, к ужасу моих молодых тетюшек и матери, отец подарил мне по его заказу за 75 копеек сделанный настоящий маленький топор, сталью наваренный, остро отточенный, который и стал моей единственной игрушкой. Я прекрасно помню, что в моей комнате всегда лежала плаха дров, обыкновенно березовая, которую я мог рубить всласть. Дрова в то время были длиною в сажень, продавались кубами по три рубля за кубическую сажень (это я знал уже и тогда), плахи были толстые (вершка по три), и я немало торжествовал, когда мне удавалось после долгой возни перерубить такую плаху пополам, усыпав щепю всю комнату.

Должно быть, с топором у меня дело шло гораздо скорее, чем с букварем, так как мне врезался в память упрек Александры Викторовны:

- Вот Маша уже бегло читает, а ты все на складах сидишь – и мой на это ответ:
- Маше-то шесть лет, а мне всего пять.

Здесь невольно вспоминается рассказ о моем отце, которого попросили взять Александру Викторовну из Нижегородского института, где она кончала курс и кончила с шифром<sup>1</sup>.

Как я уже упоминал, мой отец в то время был председателем Алатырской земской управы, помещик, владелец прекрасной старинной усадьбы и шестисот десятин превосходнейшей земли. Ездил он ежегодно, подобно другим помещикам, в Нижний на ярмарку закупать годичный запас провизии. У других, конечно, это делалось так, что барин ехал в крытом тарантасе или коляске, а отдельно шли возы с закупленным в сопровождении бурмистра или старосты.

Но у отца были свои привычки и свои взгляды. Ездил он на ярмарку, как всегда, без кучера, на громадном сноповозном рыдване. В рыдван впрягалась тройка лошадей, отец захватывал с собой изрядное количество кож и веревок. Рыдван этот был на железном ходу, взятом от прадедовской кареты работы какого-то венского мастера, а потому неизносимым.

Так вот в день выпуска произошло следующее: в переполненный каретами и колясками парадный институтский двор въезжает запряженный тройкой отличных лошадей рыдван, нагруженный верхом, закрытый черными кожами и на совесть обвязанный веревками.

Рыдваном правил рослый, широкоплечий, обросший окладистой черной бородой мужчина в смушковой папахе и казацком бешмете, перепоясанном вершковой ширины сыромятным ремнем. На этом ремне у левого бока висела полуаршинной длины желтой кожи кобура, из которой спереди блестела рукоятка громадного револьвера.

Не обращая внимания на крики швейцара, отец на рыдване подкатил прямо к парадному подъезду, соскочил с облучка и вручил изумленному швейцару карточку:

---

<sup>1</sup> Шифр – награда ученицам: вензель в виде нагрудного знака с инициалами царицы.

*Николай Александрович*  
**КРЫЛОВ**

**Председатель Алатырской земской управы  
Заместитель уездного предводителя дворянства**

Подав письмо на имя начальницы института, он заявил, что приехал за девицей Ляпуновой.

Когда девица Ляпунова вышла к нему, он ей сказал:

– Поедемте, Сонечка вас в Алатыре давно ждет, – потом подставил ей ловко левое колено, правую ладонь, весьма напоминавшую медвежью лапу, и, слегка поддерживая левой рукой, вскинул как перышко на верх полуторасаженной высоты рыдвана; после этого вскочил сам, разобрал вожжи, гикнул и был таков. Девица Ляпунова и опомниться не успела.

Много лет ходил об этом рассказ по Нижегородской губернии, и многие спрашивали:

– Да что он – потомок Стеньки Разина или внук Емельки Пугачева? А он обычно говорил:

– Если Александра Викторовна будет жить с нами, то ее институтские замашки и привычки надо из нее вырвать так, как вырывают зуб, – с корнем, единым махом.

Я упомянул отцовский револьвер в желтой кобуре. Этот револьвер в 1905 г., когда частным лицам было запрещено без особого разрешения иметь оружие, отец подарил мне, так как я был тогда в чине полковника, заведывал Опытным бассейном, т. е. был начальником отдельной части и имел целый арсенал всякой всячины. Револьвер этот мастера Blanchard'a в Париже был куплен отцом в 1857 г. после того, как в Муромском лесу к нему пристали двое татар и шли рядом с возом, все щупая, что на возу; они отстали лишь, когда случайно из боковой дороги выехала артель крестьян-дровосеков:

– Ну, купец, счастлив твой бог, что ты нас повстречал, гнил бы ты в овраге, ведь это были Ахметка и Абдулка – разбойники ведомые.

С тех пор, куда бы ни ездил отец на лошадях, он с этим револьвером не разлучался; я еще в детстве помню, что он показывал другим, как надо носить револьвер на левом боку рукояткой вперед, чтобы выхватить моментально и пулю всадить не целясь, со вскидки, что он и проделывал мастерски.

В саду для этих упражнений был сделан валик, к которому ставился мешок с сеном и мишенью.

Кстати о Пугачеве. Мой отец родился в 1830 г. и, будучи мальчиком, знал еще тех почтенных старцев, которые в молодости видели Пугачева и помнили его поход через Симбирскую губернию до с. Исы Пензенской губернии. В числе этих старцев был и дед отца, Михаил Федорович Филатов, умерший в 1857 г., 98 лет, вспоминавший, как вся семья Филатовых с конвоем из псарей, охотников и доезжачих скрывалась в Засурских лесах.

Отец любил рассказывать то, что слышал от этих стариков. У меня с детства врезался в память такой рассказ. Идя походом из Казани на Пензу, Пугачев взял Алатырь. Прежде всего он велел отрубить голову городничему, а на утро следующего дня согнать народ в собор приносить присягу.

Собрался народ, собор переполнен, только посередине дорожка оставлена, царские двери в алтарь отворены. Вошел Пугачев и, не снимая шапки, прошел прямо в алтарь и сел на престол; весь народ, как увидел это, так и упал на колени – ясное дело, что истинный царь; тут же все и присягу приняли, а после присяги народу «Милостивый манифест» читали.

Мне, в то время пяти- или шестилетнему мальчику, также казалось, что если человек вошел в церковь в шапке, прошел через царские двери, сел на престол, то, конечно, – царь, и я не понимал только, почему его зовут Пугачев.

«Милостивый манифест» мне много лет спустя довелось прочесть в «Русской старине», где он был напечатан через сто лет после Пугачевского бунта; я помню начинался он так: «Жалую вас и крестом, и бороною, и волею, и землею, и угодыями, и лесами, и лугами, и рыбными ловлями, и всем беспошлинно и безданно...».

Понятно, что такой манифест навеки врезался в память тех крестьян, которые слышали его чтение и передавали из поколения в поколение. Этот манифест, всего в несколько строк, не чета был Филаретовскому в восемь страниц от 19 февраля 1861 г.

Дом бабушки Марии Михайловны был в Алатыре на Троицкой улице, как раз напротив колокольни Троицкого монастыря.

Собственно на усадьбе было два дома: в одном, в комнатах, выходивших на улицу, помещалась управа – туда мне нельзя было ходить до обеда, ибо происходило какое-то «присутствие», а в задних комнатах была столовая, спальни, детская. В другом доме жила бабушка Мария Михайловна и старушки: Анна Петровна Скобеева, Марья и Ольга Андреевны Ивановы.

Скобеева умерла в глубокой старости, когда я был уже офицером, поэтому я ее и помнил; старушек же Ивановых запомнил с детства потому, что по просьбе бабушки ее родственник, богатый помещик Федор Иванович Топорнин, привез из Москвы и подарил Марье Андреевне швейную машинку; в то время это была такая диковинка, что чуть ли не весь город перебивал, чтобы посмотреть невиданную вещь, и я частенько бегал к Марье Андреевне подивиться, как это машинка сама шьет, когда ногой только колесо вертят.

В Троицком монастыре был в то время архимандрит Авраамий, пользовавшийся большим уважением в Алатыре и в округе.

Конечно, у него было множество поклонниц и в их числе наиболее знатные и старые: Настасья Петровна Новосильцева, моя бабушка Мария Михайловна Крылова, дальняя родственница знаменитого генерала Елизавета Гавриловна Ермолова и Анна Петровна Демидова; вероятно, были и многие другие, но я их не запомнил.

Отец архимандрит достаивал по временам принимать трапезу от своих почитательниц, соблюдая, впрочем, строгую очередь. Понятно, что старицы одна перед другой старались получше угостить батюшку. Трапеза обставлялась торжественно, приглашались почетнейшие граждане города и, конечно, старицы. Само собой разумеется, готовился чисто рыбный стол, а в Суре в то время рыбы было вдоволь, аршинная стерлядь весом фунтов в десять стоила два рубля и особенный редкостью не считалась.

Вот по поводу этих-то трапез я два раза сыграл злую шалость; в последней я признался лишь через 25 лет, будучи уже профессором Морской академии.

Как сейчас помню, на сладкое у бабушки готовилось лимонное желе, которое особенно любил батюшка. Желе это готовилось на «рыбьем клею», т. е. «веществе постном», но рыбий клей требовал какого-то искусства в приготовлении, а то желе выходило тусклым. И вот в одной лавке появился привезенный из Нижнего «очищенный рыбий клей», называемый «желатин». Стала бабушка готовить желе на желатине, и выходило оно на редкость чистое и прозрачное.

Изготовила и моя мать как-то у нас на сладкое такое желе и зашел у нее разговор с отцом:

– Знаешь ли ты, Сонечка, что такое желатин, на котором ты готовишь желе и которым маменька угощает Авраамия?

– Знаю, очищенный рыбий клей.

– Вот то-то что нет, вернее бы сказать, очищенный столярный клей, делают его из телячьих ножек, телячьей головки и пр. Одним словом, это как бы очищенный и засушенный телячий студень, так что хорошо маменька архимандрита-то своего скоромит.

Слова эти мне запомнились, и я, видимо, решил свои познания проявить и действительно проявил.

Как-то подали на одном из торжественных обедов знаменитое желе, пробрался я в столовую и прямо к бабушке:

– Бабушка, бабушка, а знаете вы, что такое желатин, на котором желе делается?

– Зачем тебе? Это – очищенный рыбий клей.

– Вот и нет, папа сказал, что его из телячьих ножек делают и что он скоромный и батюшка оскормился.

Эффект был поразительный, ему бы позавидовал сам Gavarni для «Enfant terrible». Меня за проявление химических познаний обещали высечь, но как-то дело обошлось.

Вторая шалость была злостная, учинил я ее, когда мне было лет шесть.

Знал я, что батюшка Авраамий любит разварного судака и притом непременно голову.

Сура на большей части своего протяжения течет песками, и судаки в ней водились и по величине, и по вкусу редкостные (недаром судак по-немецки Sander – песчаником зовется). Вот и выследил я, что у бабушки на кухне большой обед для батюшки готовится и по обыкновению громадный разварной судак.

Выложила кухарка Марья-мордовка судака на блюдо, обложила всякой всячиной – только соусом полить и на стол нести; а я заранее чуть не целый карман громадных черных тараканов заготовил. Вышла Марья из кухни, я мигом и насовал этих тараканов в судачью голову – и под жабры, и под тумак (язык), одним словом, куда только можно было. После этого принял самый невинный вид и жду, что дальше будет.

Понесла Марья судака в столовую, я насторожился; вдруг слышу какое-то смятение, ахи, охи; я предпочел не дожидаться конца и удрал в наш дом, в свою комнату.

Был мне затем учинен допрос:

– Сознавайся, ты тараканов насажал?

– Никаких тараканов не видел и даже не знаю, о чем спрашиваете.

За неимением прямых улик я был оставлен в сильном подозрении, но наказанию не подвергся.

Только лет через двадцать пять, когда бабушке минуло 90 лет и съехались родные ее поздравлять, я сознался, что тараканы были моих рук дело. Среди присутствовавших были старики, которые знаменитый обед помнили, а кто из них был помудрее, те говорили:

– Я тогда же говорил, что виноват ты или не виноват, а выпороть тебя следовало – видели, как ты на кухне вертелся.

## Собаки

Трезорка появился у нас на дворе неизвестно откуда; пришел, стащил что-то на кухне, ушел в порожнее стойло конюшни и там поселился в углу.

Выпросив у нашей кухарки Авдотьи добрую краюху хлеба и кринку молока, я с ним очень скоро познакомился и подружился до самой его трагической гибели.

Вскоре положение его на нашем дворе было узаконено в результате примерно такой беседы. Является к отцу кучер Петр, конечно, я тут же верчусь.

– Так что, Николай Алексаныч, к нам на двор собака пристала. Дюже хороший пес, дозвольте оставить.

– Ты ее, может быть, у кого-нибудь сманил – ведь это выйдет все равно что украл.

– Помилуйте, да нешто можно, а только что пес ко двору, потому с лошадьми снюхался, по ночам не урчит; знать, хозяин ни его, ни лошадей не тревожит; дозвольте оставить.

– Ну, ты про хозяина-то меньше ври, сам за лошадьми смотри. Приведи показать.

Отец внимательно осмотрел пса, особенно уши внутри и снаружи.

– Пес хороший, молодой, здоровый, глаза умные, хоть и помесь, а помесь хорошая – овчарки с крупным пуделем. Назвать Трезоркой, пусть дом, двор и усадьбу караулит. На цепь и на привязь не сажать и не бить.

Затем, обращаясь ко мне, сделал такое наставление:

– Ты его кормить будешь; сказать Авдотье, чтобы купила на базаре глиняную чашку вот такую, – показал руками вершков семь, – обливную (глазиррованную); чашку держать чисто, мыть всякий день горячей водой; ведь из нее собаку, а не свинью кормить будешь. Свинья все сожрет, а хорошая собака к пище разборчива. Все, что от обеда и ужина остается, собирай, кроме рыбьих костей; от них собаке сытости нет, а подавиться может. Также костей утиных, гусиных и болотной дичи не клади, собака их не ест; лесной дичи – глухаря, тетерева, рябчика, куропатки кости – бери, собаки их любят. Куриные кости сперва попробуй, будет он есть или нет; бывают такие собаки, что куриных костей не едят, так ты ему вкус пищи не порти. Играть с ним играй, но не бей и не дразни, будешь с ним ласков, и он с тобой будет ласков. Глаза-то у него, как у человека, умные.

Трезорка вскоре на дворе стал общим любимцем, и даже обеих кухарок – бабушкиной Марьи и нашей Авдотьи, несмотря на то, что он их по временам обворовывал, а иногда даже грабил.

От своих родителей он унаследовал, что редко бывает, лучшие качества: от овчарки (не теперешней, тогда эта прекрасная порода не существовала, а южной, как у чабанов) он получил изумительную силу, беззаветную смелость, понятливость, находчивость и чуткость слуха; от пуделя – ум, вороватую хитрость и порядочное чутье.

Роста он был в плечах почти четырнадцать вершков, коренастый, на здоровых толстых ногах, шерсть желтовато-белая, длинная, густая, всегда полная репьев и козюлек, так что она образовала род брони. На нашем дворе он вскоре завел свои порядки. На двор не смела появиться ни одна чужая собака – трепка следовала моментально.

Когда забредала коза, овца или теленок и калитка захлопывалась, он вылезал из подворотни и с улицы отворял калитку, становясь на задние лапы и нажимая передней лапой щеколду, после чего вежливенько выпроваживал козу или теленка.

Но если заходила свинья, то тут начиналась иная игра: он давал свинье пройти далеко во двор, затем бросался и захлопывал калитку, после чего догонял свинью, хватал ее за ухо и начинал с нею бегать вкруговую по двору, все время держа за ухо. По-видимому, неистовый визг свиньи доставлял ему какое-то неведомое наслаждение. Потеха продолжалась, пока на двор не выходил отец с арапником или Петр с кнутом и отворял калитки, тогда Трезорка

за ухо выпроваживал свинью со двора. При этой игре он, видимо, обращался с ухом достаточно нежно, так как ни разу не изорвал и не изгрыз его, а если и бывала кровь, то не более двух-трех капелек.

Людей во двор Трезорка впускал без всякого лая и рычания и провожал вошедшего; если видел, что пришедший разговаривал затем с кем-либо из домашних, то выпускал беспрепятственно, не обращая никакого внимания; если же никого не было, то неотступно, молча провожал вошедшего и на прощание обнюхивал с таким серьезным видом, что его боялись гораздо больше, чем если бы он лаял или рычал.

Нищих впускал во двор свободно, но, становясь у калитки в грозную позу, со двора не выпускал, пока не получал корку хлеба, и все это молча, без лая и шума.

Хотя его кормили вдоволь, он почему-то считал необходимым ходить на промысел и часто приносил то горшок каши, то краюху хлеба и т. п. За ним иногда шла и законная владелица, чтобы получить от Авдотьи возмещение, так как при его ловкости, проворстве и знании каких-то ему ведомых путей и лазеек по задворкам отбить похищенное силою было безнадёжно.

Как-то поехали в Висягу (за 45 верст от Алатыря), и он увязался за лошадьми. Видимо, в Висяге ему понравилось, и, раз узнав дорогу, он иногда туда бегал уже по своим делам один и сам же возвращался домой в Алатырь, пробыв в Висяге иногда день-два. Отец тогда же определил, что путь от Висяги до Алатыря Трезорка совершил примерно в 2–2,5 часа, и отец выражал сожаление, что Трезорка бегал в Висягу, когда ему вздумается, и что не удавалось приспособить его гонцом.

В 1869 г. отец был избран участковым мировым судьей, и мы весной переехали из Алатыря в Висягу. Здесь для Трезорки стал еще больший простор, нежели в городе; не довольствуясь обширной усадьбой, он летом придумал себе развлечение: убегал в поле, разыскивал норы карбышей, выкапывал их и тут же съедал.

К отцу частенько приезжал из Ардатова (25 верст) его дядя Николай Михайлович Филатов, который, будучи охотником, привозил с собою своего ирландского сеттера Фрейшютца. Трезорка не выносил чужих собак на нашей усадьбе, и как Фрейшютца ни прятали, как Трезорку ни запирали, он всегда ухитрялся настичь своего врага и задать ему трепку.

Как-то раз осенью, после уборки хлебов, Николай Михайлович привез с собою пару борзых и сказал мне:

– Ну, береги твоего Трезорку, это не Фрейшютц, зададут они ему жару.

Вот тут-то сказались сила, ловкость, хитрость и смелость Трезорки; он не стал убегать от борзых, а, выследив их, как-то сразу бросился на одного из них. Не прошло и нескольких секунд, как борзой с визгом вертелся с перекусанной лапой, а Трезорка ухватил уже второго за загривок и трепал так, что еле успели разлить их водой, чтобы не дать ему перекусить хребет.

Николай Михайлович даже рассердился, говоря, что это не собака, а какой-то дикий зверь. После этого, если и приезжал в Висягу, то брал с собой лишь красавицу Добедку, к которой Трезорка, понятно, проявлял подобающую галантность.

Погиб Трезорка трагически, кажется, в конце 1871 г., когда в нашей округе появились волки; они, видимо, выманили его ночью из усадьбы, разорвали и съели, так как утром на снегу было найдено кровавое пятно и клочья шкуры с шерстью.

Плакал я о нем неутешно несколько дней.

Александр Иванович, «которому однако была фамилия не Крылов, а Тюбукин», был сын сестры моего отца Наталии Александровны, выданной в начале 40-х годов за Ивана Ивановича Тюбукина. Партия, видимо, была не из блестящих, иначе говоря, у Ивана Ивановича ничего не было, к тому же он и выпивал изрядно.

Наталии Александровне тогда же выделили, т. е. дали ей четырнадцатую часть трехсот пятнадцати висяженских душ, которых и выселили за три версты от Висяги на «пустошь»;

заставили их перенести туда свои избы и дворы, построили барский дом и усадьбу и дали столь гремевшее в то время название «Калифорния».

Золота калифорнские мужики не обрели, а долгое время были самыми захудалыми во всей округе. Лишь к 1890-м годам Александр Иванович ликвидировал свое хозяйство, продал за самую дешевую цену и с большой рассрочкой платежей всю свою землю калифорнским мужикам, после чего они в несколько лет отстроились и стали считаться богатеями.

Барский дом в Калифорнии был в шесть небольших комнат, построен из толстенных, не менее 9 вершков, бревен. Строил его по собственному разумению свой же висяженский плотник. В то время считалось шиком, чтобы пол в избе не был горизонтальным, а от входа повышался к передней стене (т. е. противоположной входу), где был передний угол с образами. Этот уклон делался в избах в полвершка на сажень, в крайнем случае, в один вершок на сажень; строя же барский дом, плотник, должно быть, хотел отличиться и если шикануть, то на славу, поэтому он сделал пол в комнатах с уклоном вершка в три или четыре на сажень. По-видимому, за постройкой никто не следил, а когда все было готово, то не перестраивать же дом наново. Так и остался тюбукинский дом навеки с наклонными полами. Перед домом был балкон, а под комнатами обширное подполье. О грабежах и убийствах в нашей местности в старые годы почти не было слышно, но конокрады пошаливали.

Усадьба в Калифорнии была сажень в 150 от деревни, поэтому Александр Иванович держал злых собак. В описываемое время, т. е. когда мне было 7-17 лет, это были Сударка и Угрюмка, полученные в подарок от знаменитого псового охотника Петра Михайловича Мачеварианова, имение которого, Липовка, было в четырех верстах от Калифорнии.

Что это была за порода и как ее вывел Петр Михайлович я не знаю, но псы, особенно Сударка, были замечательные: масть темно-серая, шерсть густая, гладкая, рост в плечах 17 вершков, сильно развитая грудь, длинный, но не пушистый хвост, длинное туловище, большая голова, так что длина Сударки от морды до конца хвоста была без малого сажень. Становясь на задние лапы, Сударка свободно клала передние на плечи высокого человека и брала кусок хлеба с его шляпы. Угрюмка был немного меньше.

Отец полагал, что сударка была выведена Петром Михайловичем Мачевариановым как помесь борзого с волком.

Любители борзых, такие, как казанские помещики Родионовы, Ермоловы и многие другие, имели большие псарные дворы, их собаки славились не менее мачевариановских. На таких псарнях всегда держали волков для «садок», т. е. для травли, чтобы приучать молодых борзых брать волка.

Александр Иванович не любил собак, не берег и не улучшал породу. Он придерживался правила, что умная собака сама себе промышлит еду; поэтому лишь зимою Сударке и Угрюмке полагалась овсянка, в остальное время они промышляли сами, – по полям выкапывали карбышей, ловили молодых зайцев, разыскивали по оврагам падаль и не раз притаскивали на барский двор целую лошадиную ногу, а костей, копыт, карбушечьих шкурок на нем постоянно валялись целые десятки; попадались и клочья кожи с овечьей шерстью, но Александр Иванович всегда уверял, что это обрезки овчины – работник Степан полушубок чинил.

В своем стаде овцы никогда не пропадали, из соседних сел тоже никто не жаловался, на бывшем в десяти верстах хуторе князя Куракина гурты овец были тысячные и никем никогда не считанные, поэтому и можно было верить, что полушубок Степана был чуть что не в постоянной починке.

Угрюмка и Сударка жили под балконом, куда у них были выкопаны лазы, а из-под балкона были ходы в подполье. Так как Сударка была нрава крутого, а клыки ее были чуть не в полтора дюйма, то эти владения ее считались неприкосновенными и туда никто не осмеливался заглядывать. Супружеской верностью Сударка не отличалась и во время ее, скажем, «тоски», поклонники собирались к ней со всей округи, почему-то обыкновенно поздно вече-

ром и ночью; лай, визг, грызня не давали покою. Сударкиных поклонников можно было разогнать лишь бекасинником, и притом стреляя в стаю из обоих стволов разом, что мне впоследствии не раз и приходилось делать, после того как в 11 лет я обзавелся ружьем.

Время, когда Сударке приходилось иметь щенят, обозначалось тем, что из-под балкона с визгом и изрядно ободранным боком выскакивал Угрюмка. После этого он поселялся на скотном дворе. Сударке же полагалось ежедневно чуть ли не ведерная шайка овсянки, за которой она изредка и вылезала из своего подполья. Затем месяца через полтора или два она появлялась со всем своим выводком, обыкновенно числом от 12 до 18, и притом всех мастей.

Всегда находились любители даже из дальних деревень, которым этих щенят раздаривали, так как они считались хорошими сторожевыми собаками.

Вот такого-то Сударкина сына рыжей масти, месяцев шести, выкупили за полтинник у мишуковского мужика и подарили мне.

Я назвал его Трезоркой, кормил вдоволь, и он вырос в крупного доброго пса, неотступно всюду меня сопровождавшего, постоянно участвовавшего в моих играх с деревенскими мальчишками, моими сверстниками. Он никаких особых талантов не проявлял, и если я о нем здесь вспоминаю, то только по поводу случая, который врезался в мою память неизгладимо и который я теперь, через 55 лет (это писалось в Париже в 1927 г.), будучи старым профессором и академиком, столь же мало могу объяснить, как и тогда, когда я был 9-летним мальчиком.

Наша усадьба была расположена на левом берегу речки Висяжки, которую летом курица свободно вброд переходила. В старые годы на этой речке была мельница, и от нее сохранилась прорванная плотина. По правому берегу Висяжки, сажень в 50-100 от русла, а местами и ближе, шла проселочная дорога из Висяги в Ермоловку и в с. Семеновское. Там, где эта дорога проходила вблизи старой плотины, считалось «нечистое место». На нем двоюродный брат отца Петр Федорович Филатов (отец знаменитого ныне окулиста Владимира Петровича Филатова) был выброшен из седла и сломал ногу; наш работник, почтеннейший Семен Романович, севастопольский унтер и кавалер, был опрокинут и, очутившись под телегой, был сильнее контужен, чем под Севастополем. Мальчишки, мои друзья, рассказывали мне множество подобных случаев. Так вот, летом 1872 г. я с несколькими сверстниками ловил в Висяжке рыбу. Ловили мы – кто на удочку, кто просто руками гольцов и пескарей. Трезорка был с нами и спокойно лежал на берегу реки. Видим мы, что по дороге в Ермоловку едет верхом наш висяженский мужик и рядом на другой лошади его 10-летний сын Васька.

Мальчишки сразу обратили внимание: «Дядя Михайло-то свернул с дороги, знать, поганое-то место стороной объезжает, а Васька, дурень, прямо прет, уж с ним что-нибудь да будет».

Не успели они это сказать, как Трезорка, вообще смирный и никогда не гонявшийся ни за телятами, ни за жеребятами, перемахнул через речку и с лаем бросился за жеребенком той матки, на которой ехал Васька. Жеребенок побежал к матке, matka повернулась к Трезорке задом и, защищая жеребенка, стала бить; Васька слетел через голову и заорал, и завизжал, как говорится, благим матом. Когда мы к нему подбежали, то оказалось, что падая, он выставил вперед правую руку, обе кости которой и сломал между локтем и запястьем, так что его сейчас же с дядей Михаилом доставили на барский двор и затем отправили за 25 верст к доктору в с. Порецкое.

Можно это назвать телепатией, гипнозом, передачей мысли, как угодно – слова эти ничего не объясняют, а факт остается фактом, и всего замечательнее то, что мальчишки предугадали его *ante factum*, а не рассказали о нем *post factum*.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Перед событием, после события (лат.).

## Соседи

Деревенская жизнь 7-9-летнего барчука с его сверстниками описана так картинно академиком Алексеем Николаевичем Толстым в «Детстве Никиты», что мои воспоминания не прибавили бы ничего интересного. Однако я считаю необходимым отметить одну нехорошую черту – это беспричинную и бессмысленную жестокость к животным.

Связать хвостами кота и собачонку и хлестать их кнутами, утопить котенка, мучить вороненка или галчонка, поймать ежа и утопить его в пруду, ловить ящериц и отламывать им хвосты, бить ящериц и лягушек и т. п. – у крестьянских мальчишек не считалось делом зазорным, и они обыкновенно непритворно удивлялись, когда я говорил, что это делать нельзя: «Николай Александрович не велит». Ну, а слово моего отца было законом – «мировой судья» в острог на целый год посадить может. По этому поводу невольно вспоминается моя первая исповедь.

Мне, должно быть, только что минуло восемь лет, и бабушка Мария Михайловна решила, что мне необходимо исповедаться, на что и испросила согласие или, как принято было говорить, «благословение» отца архимандрита Авраамия.

В усупенский пост я был взят на съезд (мировых судей) в Алатырь, причем с нами поехала и Александра Викторовна. Мне было сказано, что я буду «говеть». Заставили меня твердо выучить молитвы: «Отче наш», «Богородицу», «Царю небесный», «Достойно», «Заповеди», а также «Верую». Бабушка проэкзаменовала меня несколько раз и повела в покой отца архимандрита.

Отец Авраамий, почтенный седобородый и, видимо, добрейшей души старец, начал сперва со мною беседовать при бабушке. Затем говорит: «Ну, пойдем помолимся», – и увел меня в соседнюю комнату, где у него стоял перед образами аналой. Там он поставил меня на колени и велел читать молитвы, какие я знал, в том числе и «Верую», подсказывая мне в тех местах, где я запинался, но в общем похвалил и подбодрил словами: «Вижу, ты молитвы хорошо знаешь». После этого и сам опустился на колени перед образами и стал меня спрашивать о моих грехах, на что, согласно указаниям бабушки, я отвечал: «Грешен, батюшка».

Вопросы о. Авраамий ставил понятные моему детскому разумению, так что я под конец осмелел и на вопрос:

– Еще не знаешь ли каких за собою грехов? – ответил:

– Вот с мальчишками воронят и воробьят из гнезд выдрали и перебили. На это последовало поучение: «Нехорошо, не надо этого делать, и ворона и воробей – птички божьи, убивать их грех».

Памятуя затем, что отец не велит убивать лягушек, я сказал:

– Вот, батюшка, лягушек мы с мальчишками в пруду бьем.

– Это ничего, лягушка – тварь поганая, кровь у нее холодная, ее бить можно, это не грех.

Рассказал я об этом при бабушке отцу:

– Ты, папа, велишь нам бить воронят – вороны цыпят и утят таскают, а также воробьят, они пшеницу и конопель клюют, а лягушек бить не велишь, они всяких вредных насекомых уничтожают; а вот батюшка Авраамий сказал, что лягушка – тварь поганая, кровь у нее холодная, ее бить можно – это не грех, а у воробьят и у воронят кровь теплая и бить их грех.

После этого я помню разговор отца с бабушкой:

– Вот, маменька, следуя правилам «Номоканона»<sup>3</sup>, вы восьмилетнего Алешу говеть и исповедоваться заставили. Вы слышали, что ваш Авраамий внушает; ведь вы же сами понимаете, что для нашей местности воробей – птица вредная. Помните, как у нас за садом воробьи целую десятину редкостного урожая пшеницы очистили, пудов 200 было бы, а мы ни зерна

---

<sup>3</sup> «Номоканон» – сборник церковного права православной церкви.

не взяли; я полпуда дрови извел, ничего не помогало. Лягушка же – одно из самых полезных животных, а это авраамиево учение гораздо вреднее, чем какая-нибудь ересь Ария или Македония, которых вы анафеме предаете.

Что отвечала бабушка и как она заступилась за архимандрита, я не помню, но вера моя в непогрешимость его была поколеблена и, чтобы не ошибаться, били мы с мальчишками и воронят, и воробьят, и лягушек.

Во всяком случае этот разговор был первым зерном атеизма, который был затем во мне и во многих других окончательно закреплен года через три изучением пресловутого катехизиса Филарета, митрополита московского.

Ближайшим соседом к Висяге был владелец Липовки, знаменитый псовый охотник Петр Михайлович Мачеварианов.

Сам Петр Михайлович был в то время уже старик лет за 70, небольшого роста, сильно косой на левый глаз, но живой, бодрый. Жена его Катерина Ивановна была дама полная, их дети: Ольга, Наталия, Федор, Борис, Сергей и Дмитрий – все были намного старше меня, и я относился к ним как к взрослым.

У Петра Михайловича Мачеварианова была в Липовке старинная усадьба с большим одноэтажным домом, громадным, десятин в восемь, сильно запущенным садом, за которым был обширный, десятины в две, луг-выгон, но не для скота, а для молодых борзых щенят, которые выпускались сюда из расположенной в конце луга псарни играть и резвиться.

Псарня по своим размерам казалась как добрый скотный двор в хорошем имении.

Сколько там было собак – никто из посторонних не знал, по слухам говорили, что до 300. На псарню Петр Михайлович никогда никого не пускал, если иногда и показывал гостям собак, то только отдельные своры, которых псарни выводили на луг или на залуженный двор перед домом.

При Липовке было 1200 десятин такого чернозема, равного которому во всем Ардатовском уезде не было, да кроме Липовки, как говорили старики, у Петра Михайловича было перед тем имение в Саратовской губернии в 6000 десятин, но уже давно было продано, а после смерти Петра Михайловича в 1880 г. пошла прахом и Липовка.

Мачевариановские борзые славились, главным образом, своей красотой и резвостью, но не отличались злобностью, и волка, по словам старых охотников, брали плохо, во всяком случае хуже ермоловских и родионовских.

У борзятников для собаки был свой язык и своя терминология, вероятно столь же обширная, как у моряков для корабля. Так, например, шерсть называлась «псовиной», отсюда термин «густопсовый», хвост назывался «правлом», морда – «щипцом» и т. д., и я припоминаю, как Петр Михайлович критически разбирал и пояснял отцу, которого он был старше лет на 35, достоинства (статьи) собак, пересыпая речь непонятными мне словами.

Забегу теперь несколько вперед. В 1879 г. я был удостоен Петром Михайловичем редкой чести: он привел меня на луг против псарни и показал мне молодых борзых.

Вышло это так. Я был тогда кадетом приготовительного класса Морского училища, в плавание приготовительные классы не ходили, и нас отпускали на лето по домам. Приехал я к Александру Ивановичу в Калифорнию поохотиться на Кише, только извелись у меня пистоны; не то я их рассыпал из пистонницы, не то подмочил, провалившись в «окно». Купить негде, до Ардатова 25 верст, решил идти на поклон к Петру Михайловичу. Достал мундир, начистил пуговицы, начистил бляху, надел фуражку с ленточками, первосортные белые брюки, разглаженные так, что не было ни малейшей складочки. Принял меня Петр Михайлович особенно ласково как сына и внука своего ближайшего соседа, беседовал об охоте, вспоминал старину, показывал ружья работы своей собственной мастерской в Липовке со стволами «витого Дамаска» и, наконец, повел показать молодых борзых.

Выпустили их со псарни на луг целых выводок, штук десять, и стал с ними Петр Михайлович, которому тогда было под 80, играть. Он стал на четвереньки, борзые через него прыгают, он через них, лаял на них разными голосами, лучше их и, видимо, забавлялся искренно и любовно.

Конечно, пистонами он меня снабдил самыми лучшими, английскими, чуть ли не на все лето.

От Липовки мимо Калифорнии шла широкая, болотистая, заросшая тальником долина реки Киши. Долина эта верстах в восьми от Липовки расширялась верст до двух. Киша шла местами руслом, местами болотистым разливом сажен 200 шириною, а долина образовала тянувшуюся верст на десять Семеновскую степь, в то время не распаханную. В оврагах, ограничивающих степь, особенно по правому берегу Киши, было много поперечных, входивших в нее оврагов, с берегами, обросшими мелким дубняком, вязовником, колючим терном, перепутанным ежевикой и хмелем.

Это были истинные рассадники дичи. Осенью выезжали туда в «отъезжие поля» Мачевариановы, к ним присоединялись Пановы, приезжал из с. Теплый Стан дядя отца Петр Михайлович Филатов, выезжал на них на вороной красавице Элеоноре и отец, но я еще был слишком мал, и на эти охоты с гончими и борзыми меня не брали.

Обыкновенно в июле приезжали к нам гостить младшие братья моей матери Василий и Николай Викторовичи Ляпуновы, приезжали молодые Филатовы, двоюродные братья отца, и тогда выезжали на Кишу в степь всеми семьями; охота была ружейная на уток и болотную дичь, и я, хотя в то время и без ружья, неотступно ходил за Николаем Викторовичем.

С 11 лет у меня уже была своя двустволка, и я Кишу и Семеновскую степь изучил хорошо. Лет через 20–25, т. е. в начале 1890-х годов, тальник по Кише был вырублен, по болотам прокопаны каналы, болота обращены в луга, Семеновская степь распахана; о былом обилии дичи и охоте на Кише остались одни воспоминания.

В двух верстах от Висяги вниз по Висяжке была небольшая деревня Ермолова, бывшее имение Валерия Гавриловича Ермолова, которому прозвище было Валерий-разбойник. Про него я запомнил рассказы отца и других старших.

Валерий Гаврилович был мужчина крупный, нрава крутого, лихой наездник и смелый охотник, причем он особенно любил травить волков, которых его собаки брали лучше мачевариановских.

Видимо, Валерий Гаврилович не отличался разборчивостью в средствах; про него рассказывали, что понравится ему у соседа, как тогда говорили, девка, а сосед продавать не соглашается, тогда Валерий учинял с псарями и доезжачими набег, и девку умыкали, а уже затем платили выкуп. Рассказывали даже, что он разбирали стену у конюшни и умыкал жеребцов-производителей, но впрочем, по миновании надобности возвращал владельцу.

На охоте скакал через овраги и буераки, ничего не разбирая; под старость, когда стал грузен, на охоту выезжал не верхом, а на дрожках, запряженных парой.

Николай Михайлович Филатов, человек правдивый, рассказывал мне сам, когда я был уже офицером:

– Встретились случайно на Кише Николай Михайлович с ружьем, Валерий с борзыми.

– Николай Михайлович, у меня в этом острове волк обложен, хотите посмотреть, как травить буду?

Однако травля вышла неудачная – волк ушел по вине доезжачего, не решившегося перемахнуть вскачь через овраг. Валерий пришел в бешенство; отстегал доезжачего арапником и начал неистово ругаться: «Какой ты доезжачий, хуже бабы, овражка испугался, верхом перемахнуть не мог, да я на дрожках перемахну».

Велел кучеру гнать вскачь во весь опор и действительно маханул, но только не через овраг, а в овраг, на дне которого все смешалось в одну кучу: лошади, дрожки, кучер и сам

Валерий. Каким чудом лошади, кучер и Валерий живы остались, Николай Михайлович говорил, что никак этого понять не может.

П. М. Мачеварианов, может быть из подражания, тоже иногда устраивал своего рода набеги. До 1858 г. были откупа. Липовка была близ границы трех уездов: Алатырского, Ардамовского и Курмышского, верстах в сорока на запад была уже другая губерния, а на север – Нижегородская. Откупщики были разные, и по дорогам стояли их кордоны, не пропускавшие провоза вина из одного округа в другой.

Так вот, Петр Михайлович снаряжал псарей и доезжачих, конечно верхом; им через плечо на ремнях вешались маленькие бочонки, и экспедиция с барином во главе отправлялась в округ соседнего откупщика. Закупалась водка, и затем со свистом и гиком вскачь ватага прорывалась мимо кордона. Конечно, кордонные сторожа задержать кого-либо из лихих наездников не могли, а чтобы возбудить дело, надо было поймать с поличным.

Но однажды попался и Петр Михайлович, и откупщик свое наверстал. В липовском саду была целая куртина китайских яблонь; в один из годов уродилось этих яблочков видимо-невидимо. Повар у Петра Михайловича был большой искусник и говорит раз барину: «Китайских-то яблочков уж очень много уродилось, из них ведь можно водку гнать, очень выходит вкусная. Куб у нас на кухне есть, любую квашню можно под заторный чан легко приспособить, дозволейте я сделаю».

Петр Михайлович и разрешил. Кто-то подсмотрел либо понаслышке донес, и нагрязнул откупщик с понятами. Дорого Петру Михайловичу обошлась самогонная водка. Но это было дело гражданское и кончилось – деньгами, а отец с откупами едва под уголовный суд не попал.

Кабак – не церковь! Об этом деле отец при мне рассказывал в 1907 г., когда я был уже полковником. Вот его рассказ:

– После коронации императора Александра II в 1857 г. вышел я в отставку и поселился в Висяге. Тогда прошел слух, что откупа отменены, и стали во многих селах разбивать кабаки. Сiju у себя, занимаюсь, вдруг во двор въезжает вскачь телега, на ней Иван Засецков, один из лучших висяженских мужиков, и вбегает прямо в комнату. Глаза навывкате, нижняя челюсть отвисла, сам бледный. «Что с тобой, Иван?» – «Миколай Алексаныч, беда в Липовке, кабак разбили, наших висяженских несколько человек задержали». «Так что же, кабак – не церковь», – и я велел оседлать Золотого, чтобы ехать в Липовку. Иван моментально исчез.

Проехал я версты три, догоняю Ивана и вслед за ним телег пять висяженских, гонят вскачь в Липовку и кого встречают – орут: «Поворачивай назад, Миколай Алексаныч сказал – „кабак – не церковь“».

Прискакал я в Липовку на базарную площадь, и за мной целая ватага висяженских. Кабак разбит, валяются пьяные, а мои висяженские орут: «Не бойсь, братцы, ничего не будет, Миколай Алексаныч сказал – „кабак – не церковь“».

С базарной площади я тотчас же поехал к Петру Михайловичу и вижу: ворота и двери на запоре, ставни закрыты, сам Петр Михайлович у входа в дом с двумя револьверами за поясом, у каждого окна через глазок в ставнях смотрит либо псарь, либо охотник с ружьем.

– Что у вас, Петр Михайлович, осадное положение?

– Да как же, ведь бунт, кабак разбили, как вы ко мне добрались?

– Кабак действительно разбит, человек десять перепилось до бесчувствия, остальные пьяные песни горланят. Велика важность, кой-кого оштрафуют, кому розгачей влепят.

Полиция в своем протоколе выставила меня чуть ли не зачинщиком и вожаком, и мне года два пришлось отписываться и уездному, и губернскому предводителю, и вице-губернатору, и прочим властям: хорошо, что были свидетели, что я прискакал в Липовку после того, как кабак был разбит, а то мне дорого бы обошелся лозунг «кабак – не церковь».

Эти слова мне потом лет 10–15 припоминали.

Петр Михайлович не выносил и считал проявлением крайнего к себе неуважения, если кто делал ошибку в начертании его фамилии, которую он по старой орфографии писал «Мачеварианов». Даже написание «Мачеварьянов» принималось им за обиду. Озорники этим пользовались, и много ходило по этому поводу рассказов; некоторые из них я приведу.

Должность исправника в николаевские времена была выборная и замещалась дворянами. Одно время исправником был Петр Михайлович, а предшественником его был некий Шалимов. Кто-то и подшутил со вновь приехавшим в Ардатов помещиком Жуковым и на вопрос: «Кто исправник?» Ответил: «Петр Мачеварианович Шалимов».

Жуков и отправил письмо по адресу: «В с. Липовку, Петру Мачевариановичу Шалимову», и был затем несказанно удивлен, когда на дворянском собрании Петр Михайлович стал делать ему выговор:

– Как вы мне письмо адресовали, ведь я вас не зову Иван Жукач Тараканов. Говорят, что дело чуть до дуэли не дошло.

В селе Алферьеве, верстах в 25 от Липовки, проживал каждое лето уважаемый помещик Петр Евграфович Кикин, тайный советник и, кажется, сенатор. По ошибке он как-то адресовал письмо так: «П. М. Мачеварианову в Мачевариановку» и немедленно получил ответ: «П. Е. Тыкину в Тыкинку».

Таких анекдотов про Петра Михайловича ходило множество. Подобно всем старым охотникам, Петр Михайлович был умелый рассказчик. Рассказы его если и не отличались иногда правдивостью, то всегда были остроумны.

Злые языки любили приписывать Петру Михайловичу такой рассказ:

– Померла у меня Лебедка, и остались после нее малые щенята; призвал я старосту и велел ему раздать щенят на деревню бабам, чтобы их выкормили. Я-то думал, будут с пальца или с соски коровьим молоком кормить, а они сдуру стали щенят кормить грудью, и вышли собаки глупые-преглупые.

После смерти Петра Михайловича его сыновья псарню ликвидировали, собак распродали любителям; между прочим, купил несколько борзых и двоюродный брат отца, Петр Федорович Филатов и у него в Михайловке еще лет 12 велась мачевариановская порода борзых, пока в 1893 г. пошла Михайловка с молотка; а перед тем Петр Федорович распродав собак, одну из которых, именно красавицу Лебедку, купил князь Васильчиков.

Петр Федорович, родной брат знаменитого профессора Нила Федоровича и отец ныне еще более знаменитого окулиста Владимира Петровича Филатова, был также искусный врач, особенно как хирург. После продажи Михайловки он сперва практиковал в Симбирске, а затем, овдовев, стал вместо частной практики брать места врача в разных окраинных экспедициях, например в Персии на постройке шоссе из Джульфы в Тегеран, затем в Маньчжурии на постройке железной дороги. Здесь я его встретил в 1903 г. на Хинганском перевале, возвращаясь из плавания на учебном судне «Океан».

Началась японская война, Петр Федорович захотел поступить врачом в армию. Запася рекомендациями от своего брата Нила, от московских профессоров-хирургов, подобрал коллекцию своих специальных статей и явился в Мукдене или Харбине к главноуправляющему Красным Крестом князю Васильчикову.

Принимает его князь стоя, руки не подает:

– Что вам угодно?

– Я, ваше сиятельство, хирург, был 15 лет земским врачом, заведовал больницей, был затем в разных экспедициях и при постройке Маньчжурской железной дороги; Маньчжурью знаю, хотел бы получить службу в одном из госпиталей, имею вот рекомендации.

– Да, знаете, столько желающих; я посмотрю, подумаю, все вакансии заняты. Позвольте, однако, эти письма.

Начал про себя читать, затем говорит:

– Филатов, Петр Федорович, да это не вы ли мне лет 15 тому назад Лебедку продали?

– Я.

– Вы бы так и сказали, – схватил за обе руки, усадил в кресло, – ведь какая красавица-то была, какие от нее шенки пошли, ведь я породу до сих пор сохранил, чистых мачевариановских кровей.

Через полчаса Петр Федорович вышел от князя главным хирургом одного из самых больших полевых госпиталей.

Описывая это в письме к моему отцу, Петр Федорович закончил так:

– Вот, брат Николай, как меня Лебедка-то через 15 лет выручила, это не чета Нилочкиной рекомендации, какая он знаменитость ни есть.

Однако возможно, что князь рассуждал так: уж если Петр Федорович меня на собаке, которую я у него заглазно купил, не надул, то значит человек честный и на него положиться можно.

## Теплый Стан. Сеченовы и Филатов

Село Теплый Стан Курмышского уезда Симбирской губернии, дворов в 200, тянется двумя порядками версты на полторы. Посредине южного порядка церковь; западная половина села была филатовской, восточная – сеченовской.

Филатовская усадьба принадлежала дяде моего отца, Петру Михайловичу Филатову, и состояла из сада в 16 десятин со старыми громадными деревьями, из которых одному, отполировав сечение коры<sup>4</sup>, отец в лупу насчитал до 400 лет, двух барских домов, дома управляющего и усадебных строений. В большом доме жил сам Петр Михайлович, а в другом, малом, гостили сестры отца: незамужняя Анна Александровна Крылова и замужняя Софья Александровна Лодыгина.

Сеченовская половина заключала старый большой двухэтажный дом с садом и усадьбой, где жили братья Андрей и Рафаил Михайловичи Сеченовы. Рафаил был женат на Екатерине Васильевне Ляпуновой, Андрей в то время до 1872 г. был холост. Вместе с Екатериной Васильевной жили ее сестры: Глафира, Марфа и Елизавета Васильевны Ляпуновы, приходившиеся родными тетками моей матери.

Кроме того, на сеченовской половине были усадьбы Алексея Михайловича Сеченова и Варвары Михайловны, по мужу Кастен.

У Петра Михайловича Филатова были тогда только дочери – Маша, годом старше меня, и Варя, моложе меня года на четыре и поэтому считавшаяся «маленькой».

У Рафаила Михайловича была единственная дочь Наташа, года на три старше меня. У Наташи было три тетеньки, да гувернантка, а я считался разбойником, так как кинул в тетю Марфу чуркой, и Наташу от меня прятали и играть с ней не позволяли.

Обе половины Теплового Стана были нам сродни, поэтому примерно каждый месяц мы из Висяги ездили всей семьей гостить дня на три в Теплый Стан. Отец останавливался у Филатовых, а мать со мной – у Сеченовых.

Из этих поездок мне особенно врезались в память поездки летние. Дорога шла через Кишу и Семеновскую степь, причем Кишу приходилось переезжать три раза: один раз вброд и два раза по мостам. При переезде вброд через болотистую Кишу обыкновенно слезали кучер и отец и, тыкая в тину кнутовищем, шли искать, как отец говорил, «где хуже», чтобы лошадей и тарантас не завязить. Обыкновенно везде было «хуже», тогда рубили ивовые кусты и настиляли некоторое подобие гати.

Мосты были тоже такие, что при проезде через них из тарантаса все вылезали и ходившая на левой пристяжке пугливая Элеонора отстегивалась и проводилась отдельно в поводу.

В Семеновской степи всегда можно было видеть стаи журавлей и дрохв, перелетали стаи уток разных пород, кулики и изредка бекасы и дупеля, кружили ястребы, трепетали кобчики. Отец учил меня отличать издали птицу по полету; все это, конечно, меня занимало, и я любил эти поездки, тем более, что от Висяги до Теплового 25 верст и поездка не была утомительной.

В Теплом меня, как помню, особенно занимало то, что дядя Эпафродит Петрович Лодыгин давал мне стрелять в цель из ружья монтекристо и что на печке в доме была прекрасно нарисована карикатура, изображавшая всех теплостанских помещиков, собравшихся на балконе филатовской усадьбы, причем Андрей Михайлович Сеченов с дубинкой в руке вел на цепи, вместо медведя, теплостанского попа. Мне особенно нравилось, что я мог узнать каждого из нарисованных лиц. На Пасху и Рождество, когда попы приходили «славить», цепь и дубинка соскабливались, и тогда выходило, что просто пляшут поп и Андрей Михайлович. Затем цепь опять подрисовывалась. Кроме того, Эпафродит Петрович показывал мне «редко-

---

<sup>4</sup> По-видимому, ошибочно; нужно – «ствола».

сти»: старинную кольчугу, шестопер и подлинный кистень, которым разбойник Гурьянов человек 20 перебил. Кистень этот Эпафродит Петрович купил, когда после суда над Гурьяновым распродавались «с торгов» вещественные доказательства. Кистень был самодельный, из молодого дубового комелька, вершков 10 длины, служившего рукояткой, к которой на сыромятном ремне, длиною вершка в два, была привязана трехфунтовая лавочная гиря. Как видно, оружие это было страшное.

В сеченовском доме мне памятна мастерская (столярная и слесарная), в которой работал Андрей Михайлович. Он иногда давал мне в руки стамеску и показывал, как надо точить по дереву.

Летом в Теплый Стан наезжал гостить к братьям профессор Иван Михайлович Сеченов, знаменитый физиолог. Иногда он читал собравшимся родным и знакомым лекции на лягушках, которых мне поручалось наловить в прудах филатовского сада, за что я тоже допускался на эти лекции. Я уже тогда твердо знал строение тела лягушки и зачем какой орган служит, о чем, в свою очередь, я читал лекции мальчишкам многочисленной сеченовской дворни, препарирруя лягушек перочинным ножом по-своему.

Летом, вероятно 1872 г., Иван Михайлович приехал не один, а со своим другом, профессором хирургии Пелехиным. О приезде знаменитого хирурга скоро узнали в округе, и к Сеченовым повалили больные из ближних и дальних мест. Пелехин никому не отказывал в помощи; большая беседка в сеченовском саду была обращена в больницу, где лежали больные после тяжелых операций (извлечение камней), как я помню, так как эти камни затем с интересом рассматривались, и их доводилось видеть и мне.

Особенно же прославился тогда в нашей местности Пелехин несколькими удачными операциями по снятию катаракты: «слепых зрячими делает, вот это доктор, не толстопузому Кастену чета, который, кроме касторки, других лекарств не знает».

Из этих операций мне запомнилось снятие катаракты, произведенное им тетке моей бабушки и Петра Михайловича Филатова, Наталии Ниловне Топорниной, урожденной Ермоловой (родной дочери екатерининского генерал-интенданта Нила Ермолова, про которого мне затем довелось читать в «Русской старине», что он «обеими руками грабил» и имел до 10 000 душ). Наталии Ниловне в это время было далеко за 80, в нашей местности она пользовалась большим уважением.

Наталия Ниловна была совершенно слепой более 15 лет; узнав о Пелехине, приехала она из своего имения Черновское в Теплый и поселилась у своего племянника П. М. Филатова, где Пелехин и произвел операцию.

Пробыв положенное числа дней в темной комнате и убедившись затем, что глаз ее стал зрячим, она своеобразно и по-старинному отблагодарила Пелехина. В зале филатовского дома собрались многочисленные родственники, многие приехавшие издалека. Был отслужен торжественный молебен, на который был приглашен Пелехин. После молебна Наталия Ниловна твердым и ясным голосом сказала несколько слов благодарности и поклонилась ему в ноги. Встала, ей подали икону, и она сказала:

– Стань теперь ты на колени, я благословлю тебя этой древней иконой, которая в нашем роде передается из поколения в поколение более трехсот лет, храни ее, и господь сохранит тебя и ту мудрость врачевания, которую он тебе даровал.

Пелехин был растроган буквально до слез.

В это же лето гостили у Сеченовых братья Александр, Сергей и Борис Михайловичи Ляпуновы с их матерью Софьей Александровной и младшей сестрой, которую лечил Пелехин. Это были дети покойного профессора астрономии Михаила Васильевича Ляпунова; замечательно, что все три брата стали впоследствии знамениты: Александр как математик, Сергей как музыкант-композитор, Борис как филолог-славист. Может быть, тут сказалась, с одной

стороны, наследственность, а с другой – влияние Ивана Михайловича Сеченова и того уважения, которым он пользовался как среди обширной родни, так и всех его знавших.

Невольно припоминается также из того времени жившая в сеченовском доме гигантская фигура Павла Дмитриевича Алакаева, письмоводителя Рафаила и Андрея Михайловичей, бывших мировыми посредниками. Росту он был 2 аршина 15 вершков, весу 12 пудов, силицы непомерной и редкостной доброты.

– Павел Дмитриевич, поиграй мной в мячик, – он брал тогда меня, 9-летнего мальчика, на руки, подкидывал почти до потолка и ловил, как мячик.

Мой отец и Андрей Михайлович Сеченов были тоже очень сильные люди; они охотно любовались силою Павла Дмитриевича и наглядными ее проявлениями, которые он, по их просьбе, и демонстрировал на дворе сеченовского дома.

Остряк Петр Михайлович частенько говорил:

– Что вы его по силе с людьми сравниваете, его надо равнять вот с моим коренником или вон с быком.

Хотя от филатовской усадьбы до сеченовской было всего с версту, но обыкновенно друг к другу ездили, для чего запрягались тройкой, не знаю филатовской или сеченовской работы, «дрожки», на которых усаживалось в два ряда спинами друг к другу человек 12.

Как-то у подъезда сеченовского дома садились в дрожки Филатовы с гостями, и вот пристяжная зашалила, постромка свалилась с валька. Андрей Михайлович ухватил эту постромку, стал осаживать пристяжную, которая взметнула задом, и копыто, хотя и слегка, коснулось подбородка Андрея Михайловича так, что он упал. Конечно, поднялся визг барынь, крики, ахи и прочее, и вдруг раздается голос Петра Михайловича, внесший общее успокоение:

– Семен, посмотри, цела ли подкова, а что зубы у него целы – и смотреть не надо.

О крепости зубов Андрея Михайловича дедушка Петр Михайлович имел основание судить по собственным рассказам Андрея Михайловича о времени его студенчества на факультете восточных языков в Казани.

В тридцатых и начале сороковых годов факультет восточных языков был при Казанском университете, поэтому при Казанской гимназии в то время была учреждена своеобразная «бифуркация»: начиная с четвертого класса, желающие идти по окончании гимназии на факультет восточных языков освобождались от изучения математики и физики, а изучали, смотря по желанию, или арабско-персидскую, или китайско-маньчжурскую грамоту и словесность. Так вот Рафаил Михайлович записался на арабско-персидскую, а Андрей – на китайско-маньчжурскую специальность.

Рафаил был усидчив и аккуратен, каллиграфически писал любым шрифтом, хорошо чертил и рисовал и хотя после гимназии в университет не пошел, но через много лет, будучи мировым посредником, он в татарских селах частенько удивлял мулл тем, что сам читал арабский коран, приводя татар к присяге.

Андрей по окончании гимназии был несколько лет в университете по китайско-маньчжурскому отделению, но на вопрос: «Андрей Михайлович, расскажите что-нибудь, как вы в университете в Казани учились», обыкновенно начинал рассказ так:

– Был я в университете третий год; справлял купец Толстобрюхое свадьбу, а у нас, студентов, было заведено приходить на купеческие свадьбы скандалить, а он не только своих, но и синебрюховских молодцов про запас призвал. Вот я вам доложу, драка-то была, конечно, и нам попало здорово, ну да зато позабавились. Полиция нас потом разгонять стала, мой товарищ Селезнев думал, что квартальный, – как хватит его плашмя по спине осиновою лопатой, так лопата на три части разлетелась, а он оказался не квартальный надзиратель, а сам частный пристав; уж еле-еле потом в складчину роскошным обедом откупились.

Других воспоминаний у Андрея Михайловича о времени учения в Казани не было, и, по-видимому, в китайско-маньчжурской словесности он не был силен.

Петр Михайлович был страстный ружейный охотник, поэтому осенью в теплостанских рощах и в ближайших перелесках устраивались облавы, на которых бывал и я, конечно, без ружья и при условии стоять с отцом и не шевелиться. Облавы двух родов: одни, когда дозволялось стрелять всякую дичь, т. е. и зайцев, и тетеревов, и вальдшнепов, а другие, когда дозволялось стрелять только по волку и по лисице.

На этих последних облавах особенно был удачлив Петр Михайлович: ни у кого ничего, а он, смотришь, либо лисицу, либо волка взял, а раз при мне пару молодых волков дуплетом убил. При этом был с ним такой случай. Стрелок он был горячий, не всегда осторожный. После загона собрались все, Павел Дмитриевич Алакаев и говорит:

– Петр Михайлович, вы мне ногу прострелили, вот смотрите, – и показывает свой сапог, пробитый картечиной.

– Так что же было делать, куда ни помотришь – все твои ноги, ведь ты ими весь лес загородил; сапог я тебе действительно прострелил, сапоги я сооружу тебе новые, если только в Курмыше кожи хватит, а насчет ноги ты врешь, шкура у тебя толще слоновой, ее картечина не пробьет. Снимай сапог, покажи.

Действительно, при общем хохоте оказалось, что бывшая на излете картечина пробила сапог, а на ноге Павла Дмитриевича оставила лишь маленький синячок.

Невольно вспоминается образ жизни Андрея Михайловича, продолжавшийся неизменно около 50 лет до самой его смерти в 1895 г. Вставал он рано, часов в шесть, и начинал что-нибудь делать в мастерской, занимавшей две комнаты во втором этаже сеченовского дома. Каждые пять минут он прерывал работу и подходил к висящему на стене шкапчику, в который для него ставился еще с вечера пузатый графин водки, маленькая рюмочка и блюдечко с мелкими черными сухариками; выпивал рюмочку, кричал и закусывал сухариком. К вечеру графин был пуст, Андрей Михайлович весел, выпивал за ужином еще три или четыре больших рюмки из общего графина и шел спать.

Порция, которая ему ставилась в шкапчик, составляла три ведра (36 литров) в месяц; этого режима он неуклонно придерживался с 1845 по 1895 г., когда он умер, имея от роду под 80 лет.

Замечательно, что, живя безвыездно в деревне, он выписывал два или три толстых журнала, две газеты, имел хорошую библиотеку русских писателей, для которой он своими руками сделал превосходный, цельного дуба, громадный шкаф. Русских классиков он всех перечитал и хорошо помнил; хорошо знал критиков – Белинского, Писарева, Добролюбова; иногда заводил с молодежью беседы на литературные темы и умел ошарашить парадоксом, если не всегда приличным, то всегда остроумным, и это несмотря на ежемесячные три ведра водки в течение 50 лет.

Про знаменитый роман Чернышевского «Что делать?» говорил: «Наврал попович, это вовсе не Ваня и не Мария Александровна описаны», но в подробности не вдавался.

Известно, что Иван Михайлович Сеченов по окончании курса Инженерного училища, прослужив недолго в саперах, вышел в отставку и поступил на медицинский факультет Московского университета. Здесь он сблизился и подружился с С. П. Боткиным. О чем была докторская диссертация Боткина, я не знаю, но диссертация Ивана Михайловича была на тему: «О влиянии алкоголя на температуру тела человека». Не знаю, служил ли ему его родной братец объектом наблюдений, но только через много лет, в конце 80-х годов, Иван Михайлович передавал такой рассказ С. П. Боткина:

– Вот, Иван Михайлович, был у меня сегодня интересный пациент, ваш земляк; записался заранее, принимаю, здороваётся, садится в кресло и начинает сам повествовать:

– Надо вам сказать, профессор, что живу я давно почти безвыездно в деревне, чувствую себя пока здоровым и жизнь веду очень правильную, но все-таки, попав в Петербург, решил с вами посоветоваться. Скажем, летом встаю я в четыре часа и выпиваю стакан (чайный) водки;

мне подают дрожки, я объезжаю поля. Приеду домой около 6 ½ часов, выпью стакан водки и иду обходить усадьбу – скотный двор, конный двор и прочее. Вернусь домой часов в 8, выпью стакан водки, подзакушу и лягу отдохнуть. Встану часов в 11, выпью стакан водки, займусь до 12 со старостой, бурмистром. В 12 часов выпью стакан водки, пообедаю и после обеда прилягу отдохнуть. Встану в 3 часа, выпью стакан водки... и т. д.

– Позвольте вас спросить, давно ли вы ведете столь правильный образ жизни?

– Я вышел в отставку после взятия Варшавы (Паскевичем в 1831 г.) и поселился в имении, так вот с тех пор; а то, знаете, в полку, я в кавалерии служил, трудно было соблюдать правильный образ жизни, особенно тогда: только что кончили воевать с турками, как поляки забунтовали. Так, вот, профессор, скажите, какого мне режима придерживаться?

– Продолжайте вести ваш правильный образ жизни, он вам, видимо, на пользу.

– Вы, Иван Михайлович, не знаете этого чудака?

– Кто же его в нашей местности не знает, это Николай Васильевич Приклонский.

Однако едва ли Иван Михайлович рассказал своему другу С. П. Боткину про менее «правильный» образ жизни своего брата Андрея.

*На Волге в 1870-1880-х годах*<sup>56</sup>

Со времени постройки первого русского парохода протекло 125 лет. Мои самые ранние воспоминания относятся к пароходам, ходившим по Волге в 1870–1880 гг., т. е. от 60 до 70 лет тому назад.

Подобно тому как даль в пространстве скрывается от нас туманной дымкой, так что становится трудно различить, что ближе, что дальше, даль во времени прикрыта такой же дымкой. Вероятно, в моих словах найдется немало анахронизмов, ибо это не ученая статья, а просто воспоминания 77-летнего старика о годах своего детства и ранней юности.

Отец мой был родом из Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне Ульяновской области), а мать из Казани. В указанные годы в конце апреля и в конце августа родители ездили в Казань навещать родных моей матери и брали меня с собой. Весной ездили на своих лошадях до Тетюш, а оттуда на пароходе до Казани, где и гостили дней десять. В августе доезжали на своих лошадях до Исад, оттуда пароходом отправлялись дня на три в Нижний на ярмарку, а затем пароходом же – до Казани и возвращались через Тетюши.

Эти поездки живо встают в моей памяти.

В начале 1870-х годов на Волге работали пассажирские пароходы обществ «Самолет», «По Волге», «Кавказ и Меркурий». Все пароходы были однопалубные, носовая часть палубы была открытая и предназначалась главным образом для груза. Над кормовой частью возвышался на бортовых стойках спардек, именованный «мостиком», куда допускались лишь пассажиры 1-го и 2-го классов.

Пароходы были колесные, машины – большей частью с качающимся цилиндром, постройки бельгийской фирмы «Кокериль».

Все пароходы были почти одинаковые, но особенно славились «самолетские», и их предпочитали «волжским» и «меркурьевским».

Отопление на всех пароходах было дровяное. Дрова – дубовые, длиной в аршин, из толстых поленьев. Их получали, раскалывая восьмивершковый кряж на четыре части.

Погрузка дров производилась на пристанях, расположенных, примерно, через 50–70 верст одна от другой. Грузили женщины, которые с удивительным проворством, бегом переносили дрова из берегового штабеля на пароход. Вместо носилок служили два нескрепленных

---

<sup>5</sup> Настоящий очерк напечатан впервые в «Морском сборнике» (1941), № 1, где имел подзаголовок: «Из воспоминаний пассажира».

<sup>6</sup> В конце книги приведены примечания к тексту.

между собой шеста с двумя колышками, вбитыми в средней части каждого из них. На пароходе дрова очень ловко с великим грохотом сбрасывались в дровяной трюм.

Ночью было видно, как из дымовых труб вылетал целый столб искр, которые вихрем кружились позади трубы, представляя разнообразием своих движений картину удивительной живости и красоты.

В 1871 или 1872 г. появился на Волге первый двухпалубный пароход «Александр II», американской системы, с обширной, почти во всю его длину, двухэтажной надстройкой, в которой были расположены пассажирские помещения. Отопление на этом пароходе было нефтяное, видимо какой-то весьма несовершенной системы, ибо из труб валило облако черного дыма, которое стлалось за пароходом по воде, образуя как бы «дымовую завесу», если применить теперешний термин.

Хотя на этом пароходе пассажирские помещения, в особенности 3-го класса, были много удобнее, нежели на прочих пароходах, но первые два года он не пользовался доверием публики, про него ходили разные легенды, – то ли, что его ветром опрокинет, то ли, что на нем нефть взорвется, и т. п., – поэтому его избегали.

Но затем предприимчивый коммерсант Зевеке сразу поставил на линию Нижний – Астрахань пять пароходов американской системы, да на линию Нижний – Рыбинск тоже четыре или пять. Эти пароходы верхнего плеса были с одним задним колесом.

Зевеке сбил цену за перевозку пассажиров, его пароходы приобрели доверие публики, и к концу 1880-х годов все остальные общества вынуждены были работать также пароходами американского типа.

В 1878 г. я был принят в младший приготовительный класс Морского училища (военного). Приготовительные классы в плавание на судах отряда Морского училища не назначались, а увольнялись на «каникулы», в отпуск, поэтому лето 1879 и 1880 гг. я провел в родных алатайских краях.

Город Алатырь расположен на левом берегу реки Суры, примерно на версту выше впадения в нее реки Алатырь.

В 1879 г. ходил по Суре пароход купца К. Н. Попова «Неожиданный», с «невзрываемым котлом Бельвиля и капитальными стенами» – так в рекламе именовались поперечные переборки.

От Васильурска, где Сура впадает в Волгу, «горой» до Алатыря около 150 верст, и мы решили ехать по железной дороге до Нижнего, пароходом в Васильурск и на «Неожиданном» в Алатырь. С пересадками мы ехали семь суток, из них на «Неожиданном» – пять, т. е. дольше, чем лайнеры последнего времени пересекали Атлантический океан.

Про волжских комаров говорят, что они кусают даже сквозь полушубок. Пять суток на «Неожиданном» показали его пассажирам, что сурские комары не уступают волжским.

Сура очень извилистая, берега ее песчаные, течение быстрое, поэтому на ней множество мелководий, или, по-местному, «перекатов», которые хотя в общем и сохраняют свои места, но постоянно изменяют очертание. Идя вверх по течению, пароход должен был грузиться так, чтобы сидеть носом на несколько дюймов глубже, чем кормой; благодаря этому его не разворачивало, когда приходилось притыкаться к мели.

При подходе к перекаату уменьшали ход, и малым ходом пароход притыкался к отмели. Как только слышалось своеобразное шуршание, машину останавливали и раздавалась команда капитана:

– Ванька, Васька, скидай портки, сигай в воду, маячь!

Ванька и Васька, полуголые, прыгали в воду и «маячили», т. е. измеряли глубину, подавая, в особенности ночью, результаты своего своеобразного промера так:

– Василь Иваныч, – кричит, например, Васька, – здесь по колено!

– Иди к правому берегу! Через некоторое время:

- Василь Иваныч, здесь по пол-ляжки!
- Иди еще!
- Наконец, раздается желательное:
- Василь Иваныч, здесь по брюхо!
- Стой там, подавай голос!

Точно так же выставлялся и живой маяк Ванька. По их голосам «Неожиданный» и перебирался малым ходом, вернее сказать, перетирался через перекаат.

Весной Сура разливается, поднимаясь выше своего летнего уровня метров на 8–9, и заливают берега. Теперь не помню, в 1882 или в 1883 г., сбившись с фарватера, «Неожиданный» сел на мель на залитом берегу; сняться с мели Василь Иваныч не успел или не сумел (как говорили, его судоводительское образование состояло в том, что он раньше был ямщиком на тракте Порецкое – Промзино, пролегающем по берегу Суры, и перешел служить на пароход, потому что «к буфету ближе»). Вода быстро спала, и пароход весь год до следующей весны простоял в чьем-то огороде.

Замечательно, что в 1880 г. один из пароходов Аральской (военной) флотилии во время разлива Аму-Дарьи также сел на мель в нескольких стах саженьях от берега, не успел вовремя сняться с мели и два года простоял на берегу. Но его командир, в чине капитана 2-го ранга, был искуснее Василь Иваныча, которого К. Н. Попов опять прогнал в ямщики. При посадке на мель аральского парохода был отдан якорь и, как полагалось, поднят гюйс, так что пароход стоял «на якорю» «под вымпелом», т. е. как бы «в морской кампании». На нем каждое утро с обычной церемонией поднимали в 8 часов флаг и гюйс, на нем велся по форме вахтенный журнал, в который вписывалось все, что полагается, т. е. на левую страницу – метеорологические наблюдения, а на правую – текущие события корабельной жизни под заголовком: «Стоя на якорю близ кишлака Абдул-Чекмень, с полудня случаи». На пароходе производились все полагавшиеся «по якорному расписанию» учения, например, спуск и подъем гребных судов, обучение гребле (с одного борта по песку), пожарные и боевые тревоги, артиллерийские учения, изредка с пальбой в цель из орудий, салюты и расцветивание флагами по царским дням и т. д., а главное, всем шло «морское довольствие по положению».

Такое плавание «по сушу, яко по морю» продолжалось более двух лет, пока из Петербурга не нагрязнуло какое-то «начальствующее лицо», возбудившее против командира и офицеров «судное дело». Насколько помню, постановка на мель была отнесена «к неизбежным случайностям»; в остальном же командир отговаривался тем, что на Аму-Дарье бывают совершенно неожиданные паводки, и он держал вверенный ему пароход в постоянной готовности при первом паводке сняться с мели, служба на пароходе протекала во всем согласно «Морскому уставу» и довольствие производилось во всем согласно «Уставу счетному». Составы преступления суд не нашел, все были оправданы, и дело производством прекращено.

Однако вернемся на Волгу, по которой тогда происходило оживленное не только пассажирское, но и главным образом грузовое движение. Баржи с рожью, овсом, пшеницей и прочими грузами шли вверх или под буксиром пароходов, или за «кабестанными машинами», а затем по Мариинской системе направлялись в Петербург; здесь хлеб перегружали на лихтера (Морской канал был открыт в мае 1885 г.) и доставлялся в Кронштадт, где его перегружали на пароходы для отправки за границу.

Вниз по Волге шел главным образом лесной товар из Суры с ее дубовыми лесами Ядринского, Курмышского и Васильсурского уездов, шли клепки для бочек, ободья, полозья, колесные спицы и пр. С верховьев Суры поступали березовые круглыши для колесных ступиц, оглобли, ивовые дуги, кленовые заготовки для клещей хомутов и т. д. Из села Промзина отправляли хлеб в зерне, из Алатыря – муку размола мельниц К. Н. Попова, владельца «Неожиданного». С Ветлуги и Унжи шло много лубяного товара, т. е. лубков, мочалы, рогожи и пр.

С Камы и ее притоков шло уральское железо в Нижний на ярмарку, хлеб и множество лесных грузов.

Большая часть лесных грузов перевозилась на «белянах», которые строились на один рейс. По Унже, Ветлуге и Суре лес доставлялся или на белянах, или на «расшивах» с их разукрашенными «кичками».

Сплав производился кормой вперед, для чего ставились специальные большие сплавные рули. Судно волочило за собой чугунный, весом от 50 до 100 пудов, груз, который называли «лотом», а тот канат, на котором его волочили, назывался «сукой» (от глагола сучить). Этот канат при управлении судном прихватывался то с одного, то с другого борта, для чего на носовой части устраивался квадратный, во всю ширину судна помост, именованный «кичкой», — отсюда команда старинных волжских разбойников: «сарынь (т. е. бурлаки), на кичку».

Невольно вспоминаются эпизоды вроде следующего.

Выходит на кожух колеса и становится у борта монументальная фигура, по меньшей мере в 8 пудов весом, в поддевке, сапоги бураками, борода лопатой во всю грудь.

Навстречу идет беляна. Фигура орет громовым басом:

– Степан, ты отчего, сукин сын, у Курмыша двое суток простоял?

– Миколай Иваныч, ветер больно силен был, все на берег нажимало...

– Врешь, сукин сын... это тебя... на кабак нажимало...

Дальше шла сплошная волжская элоквенция, не нашедшая отражения даже в дополнениях проф. Бодуэна де Куртенэ к словарю Даля.

Его степенству никакого не было дела до того, что на спардеке сидело множество дам, гревшихся на солнце и любовавшихся волжскими пейзажами. Хозяйский глаз усмотрел неискренность «водолива» Степана, как же на него не излить хозяйский гнев, а дамы пусть наслаждаются не только волжскими пейзажами, но и волжским красноречием.

Все это было 60–70 лет тому назад и кануло в безвозвратную вечность.

## Школьные годы

Мой отец воспитывался в Первом кадетском корпусе в Петербурге. Принят он был в корпус в 1842 г. и выпущен в конце лета 1850 г. прапорщиком в артиллерию<sup>7</sup>.

Батарея, в которую он был назначен, стояла в Алешках. Отсюда недалеко до устьев Днепра с их нескончаемыми плавнями.

Батарейным командиром был старый кавказский воин, георгиевский кавалер, полковник Прокопович. Службой он офицеров весною и летом не утруждал, а заботился больше о безгрешных доходах от своей батареи. Снимал у Фальц-Фейна громадный участок степи, на котором табуном паслись батарейные лошади, и, начиная с середины июня, заготавливали сено для корма зимою лошадей, овес же заготавливался только по книгам по справочным ценам – это и составляло «безгрешный доход» батарейного. По старинному обычаю молодые офицеры своего хозяйства не вели, а столовались у батарейного.

Осенью предстояли смотры, и офицерам с начала августа стоило большого труда уговорить батарейного, что пора начинать ученье, так как в табунах на воле лошади совсем дичали.

Отец в молодости был страстный охотник; завел себе лодку и со своим присланным из Висяги егерем Евсеем Алексеевым проводил время целыми неделями в степи, разыскивая стрепетов и в плавнях стреляя уток и болотную дичь. Здесь он заполучил крымскую лихорадку.

В 1852 г. его батарею потребовали в Николаев, посадили на суда Черноморского флота и отправили в крейсерство вдоль Кавказского побережья. Флот часто высаживал десант, в который входила и полевая артиллерия, чтобы обстреливать непокорных горцев.

Здесь в болотах Кавказского побережья отец вдобавок к крымской заполучил еще и кавказскую лихорадку.

В 1852 г. отец вышел в отставку и поселился в Висяге, усердно занявшись хозяйством, чтобы спасти ее от «молотка», что ему и удалось, так как хлеб был в цене, а висяженский чернозем дал редкостный урожай в 1852 и в 1853 гг.

С началом Крымской войны отец был вновь призван на военную службу и определен во вторую легкую батарею 13-й артиллерийской бригады, на вакансию, оставшуюся свободной после Л. Н. Толстого, переведенного в другую бригаду.

Л. Н. Толстой хотел уже тогда известить в батарее матернюю ругань и увещевал солдат: «Ну к чему такие слова говорить, ведь ты этого не делал, что говоришь, просто, значит, бессмыслицу говоришь, ну и скажи, например, „елки тебе палки“, „эх, ты, едондер пуп“, „эх, ты, ерфиндер“ и т. п.»

Солдаты поняли это по-своему:

– Вот был у нас офицер, его сиятельство граф Толстой, вот уже матерщинник был, слова просто не скажет, так погибает, что и не выговоришь<sup>8</sup>.

Батарея отца стояла в то время в Вязьме. По мобилизации отец был послан со своим взводом в Юзовку за ядрами и в Калугу за порохом, а затем его батарея была походным порядком отправлена на южный берег Финляндии и расположена взводами по берегам и островам между Выборгом и Биорке.

Взвод отца был расположен в Биорке, и до заключения мира в 1856 г. ему только один раз пришлось перестреливаться с английской канонеркой и с десантом, который она неудачно пыталась высадить.

<sup>7</sup> О школьных годах А. Н. Крылова – в его очерке «Кадеты 40-х годов. Личные воспоминания» («Исторический вестник», 1901, № 9, с. 943–967).

<sup>8</sup> Другие подробности о Л. Н. Толстом по воспоминаниям А. Н. Крылова – в его «Очерках из далекого прошлого» («Вестник Европы», 1900, № 5, с. 145–188).

По заключении мира всю 13-ю бригаду отправили в Москву готовить фейерверк для предстоящей в 1857 г. коронации Александра II, причем пороху и всякого фейерверочного снадобья отпускали в неограниченном количестве.

Фейерверк должен был изображать извержение Везувия, и, кроме того, собранный со всей армии хор в 3000 музыкантов должен был исполнить гимн «Боже, царя храни», а вместо турецкого барабана должны были служить залпы артиллерии, производимые гальванически композитором генералом Львовым, причем было отпущено по 300 выстрелов на орудие, чтобы Львов мог напрактиковаться в игре на столь своеобразном турецком барабане.

Отец иногда рассказывал о приготовлении к фейерверку, самом фейерверке и о полном порядке при угощении народа на Ходынском поле благодаря умелому использованию многочисленных воинских частей, расставленных шпалерами, чтобы направлять движение народа и избежать давки, которая произошла в 1896 г. при коронации Николая II, когда погибло до 2000 человек.

В 1857 г. отец окончательно вышел в отставку и поступил на службу управляющим имениями Ермоловых и Родионовых в Казанской и Вятской губерниях, изредка наезжая в Висягу для проверки бурмистра, ею управляющего<sup>9</sup>.

В бывшей Вятской губернии и поныне существует уездный город Шадринск. Отец как-то объяснял мне, когда я был уже взрослым, происхождение этого названия.

У Родионовых было в Вятской губернии 10 000 десятин векового вязового леса. Вязы были в два и в три обхвата, но никакого сплава не было, поэтому в лесу велось шадриковое хозяйство, теперь совершенно забытое.

Это хозяйство состояло в том, что вековой вяз рубился, от него обрубали ветки и тонкие сучья, складывали в большой костер и сжигали, получалась маленькая кучка золы; эта зола и называлась шадрик и продавалась в то время в Нижнем на ярмарке по два рубля за пуд; ствол же оставлялся гнить в лесу.

После этого не удивительно, что от вековых вязовых лесов Вятской губернии и воспоминаний не осталось. В каком ином государстве, кроме помещичье-крепостной России, могло существовать подобное хозяйство?

В марте 1861 г. отец был свидетелем так называемого «Безднинского бунта», о котором он в 1901 г., т. е. через 40 лет, поместил статью в «Историческом вестнике», к которой и отсылаю читателя<sup>10</sup>.

До 1872 г. отец не мог избавиться от крымско-кавказской лихорадки, которая и мучила его недели по три каждую весну и каждую осень, причем кавказские приемы хины, – порошком по водочной рюмке верхом в раз (около 60 гран) – мало помогали.

В конце января или в феврале приехали мы в Теплый. День был морозный; отец поверх полушубка надел тулуп романовской овчины с шерстью длиною вершка в три; в прихожей сеченовского дома, к которому мы сперва подъехали, встречает отца Кастен: «Дай я тебя прослушаю, – и прикладывает ухо к тулупу на груди (прослушивание и простукивание тогда только что входило в медицинскую практику), – ты вот с лихорадкой шутил, вот теперь у тебя чахотка, через год или два умрешь (отец прожил после того 40 лет). Будешь в Нижнем на ярмарке, съезди в Москву, посоветуйся с доктором NN (фамилию доктора я забыл), он тебя отправит за границу. Имей также в виду, что Велию (бывший симбирский губернатор) назначен товарищем министра внутренних дел, он тебе „кабак – не церковь“ припомнит и отправит лечиться в места не столь отдаленные».

---

<sup>9</sup> Об этом – у А. Н. Крылова в его очерке «Воспоминания мирового посредника первого призыва» («Русская старина», 1892, № 4 и 6).

<sup>10</sup> Имеется в виду очерк А. Н. Крылова «Накануне великих реформ» («Исторический вестник», 1903, № 9, с. 786–821).

Московский доктор посоветовал отцу переменить климат и переехать на житье на юг Франции. Отец избрал Марсель<sup>11</sup>.

В сентябре 1872 г. отец ликвидировал хозяйство, продал усадьбу висяженскому богатому кулаку Захару Григорьевичу Овчинникову, половину же земли (около 300 десятин) распродал висяженским крестьянам по две и по три десятины в одни руки с рассрочкой платежа на пять лет (Василий Иванович Соколов, управляющий Петра Михайловича Филатова, говорил, что отец не то что отдал землю даром, а еще от себя приплатил), уплатил остаток долга в Опекунский совет, расплатился со всеми долгами по Висяге и со всей семьей, т. е. отец, мать и я (Александра Викторовна переехала еще раньше), отправился в Марсель.

Примерно через неделю по приезде меня отдали полупансионером в частный пансион: «Pensionnat Roussel et Champsaur, cours Jullien, 14».

По-французски я умел читать и списывать с книги, да знал с полсотни самых простых слов, выговаривая их на свой лад. Мне было тогда 9 лет.

Не только французята, мои сверстники, но и сами учителя о Симбирске и не слыхивали и решили, что я из Сибири, показывали на меня пальцами и говорили: «Voilà un sauvage de la Sibirie», т. е. «вот дикарь из Сибири».

В пансионе Русселя было три класса: приготовительный, младший и старший. Меня по возрасту поместили в младший, в котором всем предметам обучал monsieur Jules Roy, савоец родом, лет под 60, коренастый, проворный и ловкий, который бегал, прыгал, играл в мяч не только лучше всех нас, малышей, но и лучше старших, где были юноши по 16 и 17 лет.

Первоначальная профессия его была – проводник на Монблан; когда ему минуло 55 лет, он переменял эту профессию на учительскую и, надо отдать ему справедливость, учил нас всем предметам превосходно.

В классе нас было более 50 человек. Меня он сперва несколько выделил, задавал легкие упражнения по французскому языку, других предметов не требовал, так что к рождеству я понаторел во французском языке, и с января 1873 г. он подчинил меня в классе общему ранжиру. К этому времени родители сделали меня полным пансионером, так что я приходил домой по четвергам после обеда до вечера и по субботам до утра понедельника, остальное время оставался в пансионе.

День пансионера распределялся так:

---

<sup>11</sup> На самом деле причина переезда во Францию была совсем другая. Николай Александрович был человек очень «любовильный» и кроме нескольких семей своих крестьян, которые появлялись на свет благодаря нему, у него возник роман с сестрой своей жены Александрой Викторовной Ляпуновой. И поскольку ей предстояли роды, то было решено, чтобы она рожала во Франции, т. к. незаконнорожденный в России не имеет почти никаких гражданских прав. Во Франции, наоборот, он обладает всеми правами гражданина Франции. Вот так появился на свет молочный брат Алексея Николаевича – Виктор Анри (Victor Henri), в будущем выдающийся французский ученый, член Французской Академии Наук, открывший явление предиссоциации в молекулярной физике, большой друг Алексея Николаевича. Он был женат на Вере Васильевне Ляпуновой. Четверо его детей: Виктор, Вера, Елена, Алексей породили обширное племя Анри во Франции, а теперь и в Швейцарии, США. Никогда не забуду случай, который произошел со мной в 1964 г. в Токио. Еду в набитом лифте, кажется, на фирме «Сони», на груди у меня как участника конференции карточка с моим именем. Напротив меня миловидная женщина, которая неожиданно по-русски мне говорит «Здравствуйте, я ваша тетья, меня зовут Вера Анри». Вот тогда я узнал историю семьи Анри, которую от меня до тех пор скрывали. – А. К.

6 ч. 00 м. ....	побудка
6 ч. 30 м. — 6 ч. 45 м. ....	утренний завтрак (кофе с молоком и хлеб)
6 ч. 50 м. — 7 ч. 55 м. ....	приготовление уроков
8 ч. 00 м. — 11 ч. 00 м. ....	утренние уроки
11 ч. 05 м. — 12 ч. 55 м. ....	обед и отдых
1 ч. 00 м. — 2 ч. 25 м. ....	приготовление уроков
2 ч. 30 м. — 3 ч. 00 м. ....	отдых
3 ч. 00 м. — 4 ч. 55 м. ....	вечерние уроки
5 ч. 00 м. — 5 ч. 30 м. ....	отдых, кофе с молоком
5 ч. 30 м. — 7 ч. 55 м. ....	приготовление уроков
8 ч. 00 м. — 9 ч. 00 м. ....	отдых и ужин
9 ч. 00 м. ....	ложиться спать

Как видно, пансионер был занят кругло 11 часов в день, имея свободного времени, считая обед и ужин, 4 часа.

Приходящие были заняты с 8 часов 00 минут утра до 5 часов 00 минут вечера с перерывом в 2 часа на обед. Полупансионеры – от 8 часов утра до 8 часов вечера с перерывом на обед и на вечерний кофе.

Необходимо еще заметить, что утром задавались работы на вечерние классы того же дня, вечером – на следующий день.

Главное внимание обращалось на французский язык, французскую грамматику, которая изучалась по Noel et Chapsal, причем для усвоения правил (около 800) была книжка Exercices (упражнений), в которой отдельные предложения были напечатаны с ошибками. Эти ошибки надо было исправить, указав номер правила, на основании которого исправление сделано.

Подробно изучалась география Франции, требовалось знать все ее 96 департаментов и 96 главных их городов, – зубрежка была порядочная. Но для меня хуже всего было изучение стихотворной трагедии Расина «Atalie», причем Руа задавал отдельные сцены и в классе заставлял их отвечать наизусть, требуя, например: «Tu seras Joas et toi Atalie»<sup>12</sup> и надо было изображать диалог Жоаса с Гофолией, как в русском переводе именуется Atalie. Это упражнение вселило в меня навсегда отвращение к французским комедиям и трагедиям.

Хорошо преподавал Руа арифметику и упражнял в численных вычислениях, заставляя их делать быстро и верно, красиво и разборчиво писать цифры. Арифметика в его классе, т. е. для мальчиков 9-10 лет, проходила в объеме требований третьего класса бывших гимназий, т. е. четырех действий над целыми и дробными числами, обыкновенно весьма большими (восьмизначными); кроме того, проходило так называемое тройное правило, простое и сложное (приведением к единице). Наконец, давались без доказательства правила вычисления площадей и объемов, в том числе круга и круглых тел.

Училище имело характер полукommerческого, по требованию родителей желающих обучали бухгалтерии. Такие ученики, даже девяти- и десятилетние, должны были вести бухгалтерские книги: мемориал, кассовую и книгу личных счетов мифических Durand, Dupont, Chevalier и т. п., писать фигурными шрифтами – рондо и готическим.

Я бухгалтерии не учился, но слушал задачи вроде следующих: Durand продал Dupont 20 штук круглых сосновых бревен, таких-то размеров, по такой-то цене стер (куб. метр) и купил у него столько-то бочек вина по такой-то цене за бочку. Разнести эту сделку по книгам. Затем

<sup>12</sup> Ты будешь Жоас, а ты Аталия (Гофолия) (франц.).

в конце каждого месяца сводился баланс, причем один ученик был условно Дюраном, другой Дюпоном и каждый вел свою кассовую книгу и счет своих воображаемых клиентов. Общая география других стран, кроме Франции, почти не изучалась.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.